Петр Алешковский

Крепость

Роман

Финалист премии РУССКИЙ БУКЕР

18+

Петр Алешковский

Крепость

«АСТ»
2015

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Алешковский П. М.

Крепость / П. М. Алешковский — «АСТ», 2015

Петр Алешковский – прозаик, историк, автор романов «Жизнеописание Хорька», «Арлекин», «Владимир Чигринцев», «Рыба». Закончив кафедру археологии МГУ, на протяжении нескольких лет занимался реставрацией памятников Русского Севера.Главный герой его нового романа «Крепость» – археолог Иван Мальцов, фанат своего дела, честный и принципиальный до безрассудства. Он ведет раскопки в старинном русском городке, пишет книгу об истории Золотой Орды и сам – подобно монгольскому воину из его снов-видений – бросается на спасение древней Крепости, которой грозит уничтожение от рук местных нуворишей и столичных чиновников. Средневековые легенды получают новое прочтение, действие развивается стремительно, чтобы завершиться острым и неожиданным финалом.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Алешковский П. М., 2015
© АСТ, 2015

Содержание

Часть первая 6
1 6
2 14
3 20
4 24
5 26
6 29
7 32
8 35
9 37
10 40
11 42
12 47
13 52
14 59
15 62
16 66
Конец ознакомительного фрагмента. 71

Петр Алешковский
Крепость

Памяти отца – Марка Хаимовича Алешковского – исследователя древнерусских летописей и археолога

Быть или не быть – таков вопрос;
Что благородней духом – покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством? Умереть, уснуть —
И только; и сказать, что сном кончаешь
Тоску и тысячу природных мук,
Наследье плоти, – как такой развязки
Не жаждать? Умереть, уснуть. – Уснуть!
И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность;
Какие сны приснятся в смертном сне,
Когда мы сбросим этот бренный шум, —
Вот что сбивает нас, вот где причина
Того, что бедствия так долговечны;
Кто снес бы плети и глумленье века,
Гнет сильного, насмешку гордеца,
Боль презренной любви, судей медливость,
Заносчивость властей и оскорбленья,
Чинимые безропотной заслуге,
Когда б он сам мог дать себе расчет
Простым кинжалом?

В.Шекспир. «Гамлет». Пер. М.Лозинского

© Петр Алешковский
© ООО «Издательство АСТ»

Часть первая
Город

1

Весь вечер и весь следующий день Иван Сергеевич Мальцов пытался дозвониться до Нины, но та не отвечала, потом просто отключила мобильный. Вечером он еще крепился, но к концу второго дня не выдержал, сбегал в магазин, купил две бутылки водки.

– В спину и в сердце, два кинжала, два, – бормотал он, допивая первую.

В сердце ударила Нина, сбежавшая вчера к Виктору Калюжному, археологу новой формации. Последние год-полтора она громко восхищалась финансовыми успехами Калюжного – тот часто наведывался в их экспедицию, вроде из чисто научного интереса. Десять лет назад Виктор защитил слабенькую кандидатскую в Тверском университете. Иван Сергеевич выступал на защите оппонентом и поддержал-пожалел, выдал аванс молодому человеку, но парень не оправдал надежд. Получив диплом и некий вес в провинциальном ученом сообществе, Калюжный сразу же переключился на поиски денег для раскопок. Экспедиция его заработала как часы, землю лопатили кубическими метрами, но наукой там и не пахло, о науке новоиспеченный кандидат больше не вспоминал. Виктор вызывал теперь у Мальцова брезгливое отвращение.

ОАО Калюжного «Вепрь» копало всё подряд: путепроводы газовщикам, шурфы при строительстве водопровода в области – всё, за что хорошо платили. Работали на откате, а потому с заказчиками всегда был полный альянс. «Вепрь» паразитировал на всемирном археологическом законе: без заключения специалистов строить на земле, под которой лежит культурный слой города или даже маленького поселения, нельзя – котлован уничтожит бесценные остатки прошлой жизни. По закону от общей сметы небольшой процент выделялся ученым, работы могли начаться только когда слой был раскопан экспедицией до материка. Крохи от огромных проектов складывались в весьма приличные суммы – Калюжный и подобные ему «археологи» процветали.

Вчера утром, пока Мальцов в музее выслушивал директорский приговор, с женой связалась Светка-секретарша, ее подруга, и всё рассказала. Нина решительно собрала вещи и удрала в Тверь, откуда была родом. Потом уже позвонила, коротко и резко простилась, обрезала его вопросы, сказала, что навсегда, что требует развод.

Второй удар нанес Маничкин, бывший одноклассник, преуспевший в школе по комсомольской линии, отучившийся в Твери на эколога. Он поработал в Деревске в Горзелентресте, а когда трест лопнул, перебивался несколько лет шабашками, составлял для городских властей планы озеленения и ратовал за возрождение в районе старинных усадебных парков. В начале девяностых Маничкин стал директором деревского городского музея-заповедника, созданного благодаря обстоятельному письму-прошению в верха самого́ великого академика Лихачева, бескорыстно любившего их древний город.

Впервые Деревск упоминался в письменных источниках в связи со святым Ефремом, основателем первого на Руси Борисоглебского монастыря в первой трети одиннадцатого века. Житие святого сохранилось в поздней редакции, что отмечал еще Ключевский, но из него становится ясно, что Ефрем служил конюшим у князя Бориса, убиенного в 1015 году на реке Альте в первой и одной из самых драматических братоубийственных междоусобиц, что позднее стали обычными на Руси. Вместе с князем Борисом погиб и брат Ефрема – дружинник Георгий Угрин. Братья были из венгров (отсюда и прозвище-фамилия), житие приписывает

им высокое боярское происхождение. Третий брат – Моисей Угрин – немедленно удалился в Киево-Печерскую лавру, где принял постриг и скончал свои дни, тогда как Ефрем отправился на реку Альту, на берегу которой чудесным образом обрел отрубленную голову брата-дружинника, и вместе с этой реликвией подался подальше из Киевской земли в Верхневолжье. Там, на глухих берегах реки Деревы, по свидетельству жития, он заложил «церковь каменну» во имя страстотерпцев Бориса и Глеба. Как особо отмечает житие, святой Ефрем так дорожил головой брата, что всегда держал ее в своей келье, а перед смертью, «вырубив себе гроб каменный», завещал похоронить себя вместе с ней. Рака святого, мощи коего были обретены иеромонахом Юрьева монастыря только в шестнадцатом веке, находится в соборе, построенном через много лет после смерти Ефрема. Первый каменный собор в монастыре построили в двенадцатом веке, но и он не сохранился. В восемнадцатом столетии ветхое здание снесли, великий архитектор-классицист Барсов возвел на его месте огромную желтую гаргарину с четырьмя портиками и рядами толстых уродливых колонн, куда и перенесли драгоценные останки святого. Большевики после революции вскрыли раку, ища там по своей безграмотности драгоценности, но не нашли ни тела святого, ни головы Георгия, ни запрятанных сокровищ.

Мальцов знал: крестоносцы в Палестине, почитая мощи погибших в битвах с неверными родственников, заказывали специальные серебряные ковчежцы для останков, в них заключали кости рук и черепа и, возвратившись в фамильные за́мки, благоговейно хранили мумифицированные реликвии в алтарях домовых капелл как свидетельства героических подвигов во имя Христово представителей своего славного рода. Многие монахи-воины держали такие ковчежцы в кельях наряду с крестом и писанием – обычай проживать с останками родственника не казался им странным. Эта удивительная деталь жития, не встречаемая более ни в одном жизнеописании русского святого, единственная, казалось, сохранилась не переиначенной поздними составителями, указывая на сильную устную традицию, не умирающую и сегодня в нашей церкви. Остальные нестыковки объяснялись исследователями поздним текстом: составитель жития трепетно собрал все легенды и записал их, как смог. К шестнадцатому веку реальная история забылась, события перемешались, сохранилась лишь память о страшном убийстве первых князей-мучеников, погибших от руки Святополка Окаянного. Летописец взвалил всю вину на него, заклеймив навечно уничижительным прозвищем. Из всей истории вытекало лишь то, что Деревск напрямую связан со святым Ефремом и является одним из древнейших домонгольских городов на Руси. Это делало город вожделенным объектом исследований для археологов и музейщиков.

Отец-основатель музея Пимен Каллистов – краевед и подвижник – слепил его из четырех мелких коллекций районного масштаба, находок археологической экспедиции уже работавшего здесь Мальцова и собрания старых книг и рукописей, принадлежавших ранее Ефремовскому монастырю. Первый директор добился небывалого прямого федерального подчинения, минуя областную Тверь, пригласил к сотрудничеству питерских этнографов и ученых из Пушкинского Дома. Экспедиции прочесали прилегающие районы и набили фонды разноцветной крестьянской одеждой: сарафаньем, рубахами навыпуск, обложенными речным жемчугом киками и вышитыми крестиком рушниками с петухами и барынями, а еще зеленым городским стеклом и серийным кузнецовским фарфором, обливными чугунами и ухватами к ним, самопрялками, рубелями, самоварами, купеческой мебелишкой, костлявыми скелетами барских экипажей, хитро гнутыми саночками с приклепанными по бокам жестяными силуэтами голубых лебедей, подпотолочными лампами-трехклинками и прикроватными фарфоровыми светильниками с дутыми бочка́ми и цветными абажурами, ригельными замка́ми, кованым ломом, целым выводком грубо окрашенных резных статуэток местночтимого святого, выразительно застывшего на вбитых в стену костылях в вечном летаргическом деревянном сне, поздними деревенскими иконами и староверским литьем. Из далекого барского поместья привезли на грузовике двух чугунных львов, мелкорослых и пучеглазых, с орлиными когтями и курчавыми

гривами, установили их на постаменты перед центральным входом, обозначив этими традиционными постовыми место пристанища старых вещей.

Каллистов развернул дело правильно, но на взлете карьеры погиб в автомобильной катастрофе. Мальцов работал у него научным консультантом, потом замом по научной части, счастливо и упорно исследовал город, писал статейки и отчеты, ездил на конференции и в ус не дул. Женился, пожил пять скучных лет с добродушной женой, стряпавшей диссертацию о крюковом пении, но забывавшей сварить макароны, детей не завел, развелся по обоюдному согласию и об этом опыте жизни забыл.

Маничкина поставили не без протекции Мальцова. После гибели Каллистова его самого́ настойчиво тянули в директоры, но он был убежден: ученый не должен занимать административные посты. Мальцов собирал материалы к докторской об отношениях Золотой Орды и Руси, подписывать сметы и отвечать за бюджетные деньги не умел и учиться этому не собирался. Он тогда решительно отказался от директорского кресла и числился первым заместителем по науке и руководителем археологической экспедиции. Вчера Маничкин уволил Мальцова и уничтожил экспедицию.

Оба удара были подлые и оба смертельные.

– Видишь ли, – говорил Мальцов, беседуя с бутылкой, – оба удара смертельные, а я пока еще жив. Странно.

Прикончив первую, он свернул голову второй. Радости водка не приносила, только тело обмякло, будто утратило держащий его скелет, и в голове заклубилось нечто, как бывает при решении логической задачи. Он чувствовал священный трепет, словно вот-вот уловит пока еще недосягаемый высший смысл. Мозг взвешивал аргументы строго и точно, отбирал ходы, как в шахматном поединке, но все они разбивались о наглую, крепкую защиту противника, и Мальцов никак не мог найти брешь. Мысль, устав спотыкаться, ускользала, и его бесило, что не удается решить мучившую его жизненно важную задачу. Наконец он потерял все связи, что поначалу так красиво выстраивались в голове. Голова вдруг опустела и, глупая и бесполезная, только оскорбляла его тем, что еще как-то и зачем-то сидела на поникших плечах. В окно врывался мертвенный свет луны, нырявшей в низких тучах, холодные тени скользили по стенам, по столу, по дивану. Мальцов почувствовал озноб, потянулся к одеялу, но понял, что и оно не спасет.

Холод продирал до костей. Хотя на дворе стоял поздний август, термометр за окном показывал плюс семь. Холод сочился из стен. Мальцов на мгновение представил себя замурованным в мокром заплесневелом склепе, где в темных углах расселись повылезавшие из скользких нор жирные зеленые жабы. Положив облепленные бородавками головы на надутые груди, они изредка моргали глазками, презирающими белый свет и чистый воздух, следили за ним, мающимся в запечатанном заклятьем подземелье, как за обреченным попасть на их липкий язык мотыльком. Сидели и ждали беззвучно, ждали нехорошего, что всегда случается там, где из кирпичных пор проступает солоноватая ржавая верховая вода, где беззвучно пересекают прокисшую черноту кожистые крылья нетопырей, где тишина пропитана едким грибком и давит, как тяжелая глина на гробовую доску, и того гляди продавит несортовую колючую сосну и погребет навечно, отрежет даже малейшую возможность выскрестись отсюда, залепит глаза, забьет рот, погрузит в невыносимое небытие, в мокрое безмолвие железистого болота, на котором построены все наши старые северные города.

Он тряхнул головой, откинул с глаз потную челку, как старый конь у водопоя, атакованный тучей оводов, и прогнал адское наваждение. В Твери у него была маленькая двухкомнатная квартира, в которой они какое-то время жили с Ниной и умирающей матерью. Он продал ее, когда расписался с Ниной, и решил дожить в родном городе до конца. И только тут ощутил, что у него есть свой дом. Наследственная хрущевская халупа в Твери всегда казалась ему чуждой, он не воспринимал ее как фамильное гнездо. Здесь же всё начиналось правильно, стала

выстраиваться семья, правда, дом оказался не простым – с историей. Двухэтажный, длинный, он стоял на взгорке в тянутой перспективе таких же желто-белых строений екатерининской застройки по берегу реки. Могучий, аки крепостная стена, за века дом накопил в себе тугую энергию, распиравшую его изнутри. От нее стены кое-где пошли трещинами, их спешно замазывали цементом, да раз в десять лет город латал железную кровлю. И вот на́ тебе, теперь зачем-то и дом ополчился на Мальцова. Проверял, что ли, на прочность?

Метровые стены впитали недельный дождь, всосали из фундамента речные туманы и теперь отдавали холод и сырость. С ними в жилое пространство из большемерного шамотного кирпича вплывали сновидения и страхи, рожденные в воспаленных головах прежних хозяев. Лампочка под потолком незамедлительно реагировала на потусторонние явления – начинала потрескивать и светила тускло, вполнакала, дым из печки с громким выдохом выбивало сквозь заслонку в комнату. Сосед за стеной по-своему разбирался с чертовщиной, начинал громко стучать в чугунную сковороду овечьими ножницами, щелкал ими хищно, стриг воздух и орал что есть мочи: «У-у, гребаный Чубай, опять электричество тыришь! Я тебя! Кыш, прощелыга, чур-чур, я свой, не замай меня!» Если и эти заклятия не помогали, выбегал в коридор в одних подштанниках и мел березовым голиком по стенам, тыкал в разные стороны: «Я вас, шушера, замету, за Бел-окиян, за Латырь-камень!» Этот немощный дедок, бывший истопник котельной, был потомственным бесогоном. Бурашевская клиника душевных болезней пролечила его циклодолом и отступилась, дед был признан неизлечимым, но неопасным.

Тут извечно проживали такие вот истопники, мелкие лавочники, посадские кожемяки, выжиги, портные, брадобреи, костоправы, ломовые извозчики и плотогоны. Мужики побогаче круглый год ходили в смазных яловых сапогах, густым запахом дегтя с примесью едкой кошачьей мочи пахло в рундуках-подъездах даже в лютые морозы. Нищета фистуляла утиными шажками в кожаных поршнях, от ношения которых пятки растаптывались вширь, как неподкованные копыта, а вросшие в дикое мясо ногти толщиной в пятак люди приучались терпеть до последнего, пока хромота не заставляла расщедриться на полушку для мучителя-лекаря, что вырывал ногти в темной каморке на базаре с громким хеканьем малыми копытными щипцами. Да и руки у тутошних были одинаковые: ладонь жестче наждака, с потрескавшейся задубевшей кожей, на тыльной стороне не пропадающие даже по теплу цыпки. Эти окаянные жители, казалось, вылезали на божий свет кто с топориком в пухлой ангельской ручке, кто с засапожным свинорезом, а кто и с сыромятным тяжелым кнутом палача. Они не брили бород, подпоясывали домотканые рубахи льняной бечевкой, чтобы не пробралась к сердцу нечистая сила, носили на гайтане медный крест с ликом Спасителя, что не очень-то уберегал от смертных грехов, на которые их толкала здешняя жизнь. Многие попали за нехорошие дела в застенок и потом сгинули в холодной Сибири, навсегда занесенные снегами. Их жёны – ткачихи-надомницы, трактирные кухарки, златошвеи, сборщицы хмеля, дворничихи, повитухи и презренные служанки, коих пользуют в хвост и в гриву, блядешки и набожные богомолки в чистых темных сарафанах – по утрам и в предночье копошились у пышущих и вечно чадящих печей. Женщин этих роднил дом – многоквартирное общежитие, в котором жили, как пчёлы в улье, только без пчелиной королевы, все одной судьбой, одним пошибом. Почти все они в ранней юности глупо и безрадостно теряли девственность, а после двадцати пяти – красоту и привлекательность, все погрязли в сплетнях, пересудах и заботах о вечно голодных необстиранных детишках, стреляющих на матерей из темных закутков острыми блестящими глазенками, словно выводок мышат из свалявшегося соломенного гнезда. Детки, как и их матери, беспрестанно сопели и кашляли от копоти, от кислой вони жирных котлов и замызганных чугунов с прилипшими к стенкам листами квашеной капусты, от серых обмылков щелочного мыла, сваренного на живодерне, от запахов безденежья и безнадеги, что никогда не покидали этих метровых кирпичных стен. Рубленых бараньих котлеток с мясом дикой утки, паюсной икры во льду и макарон с пармезаном здесь не пробовали никогда, срывались в сердцах на капризничающих малышей, отвора-

чивающих щербатые рты от тарелки с блестящим, только что отсикнутым творогом: «Щё, блятенята, каклеток вам накласть или мирмизану подасть?» На праздники тут варили студень из огромных свиных голов и пекли знатные пироги с капустой, яйцом и зеленым луком, рыбники с лещами и высоченные курники с коричневатой крышкой, украшенной толстыми вензелями.

По ночам хозяйки и их мужья тяжело дышали от морока, колыхавшегося посреди комнаты живым, крепко сотканным парусиновым покрывалом, как едкий угарный дым в черной бане, икали, хрюкали, стонали и взвизгивали во сне от наплывающих страхов. Страхи вдавливали их в пролежанные и потные топчаны, чьи пружинные утробы начинали сами собой вдруг гулить, трещать и звякать, а то и горготать бесовскими бесстыдными голосами. Что ни ночь домовые громыхали на кухнях тяжелыми ухватами и загнутыми глаголем кочережками и валили их с грохотом на пол. Потомственные квартировладельцы и нищеброды-съемщики просыпались на миг, запивали полуночный кошмар мутным огуречным рассолом или тошнотворной дрожжевой брагой и вновь проваливались в топкий сон. Поутру, в предрассветной мгле, они, как и вчера и позавчера, принимались разводить огонь в печах, носили коромыслами воду, громыхали ведерной жестью, топали сапожищами, цокали коваными каблучками, шаркали плоской стопой и фыркали зло на подвернувшихся под ноги вальяжных котов. Затем будили сонных ребятишек, любовно расчесывали их свалявшиеся волосики редким гребнем – вошегонкой, легонько целовали в лоб, шептали на ушко ласковую охранительную молитву, поминая троекратно Николу и Пантелеймона-целителя, и, наскоро похлебав постных щей, начинали новый трудовой день, мало чем отличавшийся от отлетевшего.

В эру материалистического безбожия их сменили постояльцы Страны Советов, наглухо завалившей прошлое тифозными костями и мощами новопреставившихся мучеников. Учетчики ворованного зерна, вохровцы из Ефремовского монастыря, отданного под спецколонию для малолеток, токари ФЗО, трактористы МТС, отличники ДОСААФ, вырвавшиеся из полумертвых ограбленных деревень в сытый, как им грезилось, городишко, жившие теперь под кровавым кумачом, а не под темной иконой, но не расставшиеся с дедовскими запугами, так же страдали застарелыми страхами. Даже комсоставские, которым полагалось забыть старый мир навсегда и строить счастливое и безоблачное будущее, тайно крестили лоб и плевали на Врага через левое плечо. Вопреки предписаниям новой веры, страхов только прибавлялось. Тряслись все, ночами, а порой и днем: и ежедневно присягающие вездесущим портретам Усатого, косящиеся угрюмо на воронки со лживой надписью «Хлеб» по обоим бортам, и несчастное лагерное мясо, в этих воронках увозимое в страну, где вечно пляшут и поют. Никого не щадили эти стены, впитавшие сизый ужас жизни: ни учителей физкультуры – ветеранов Великой войны, ни торгашей, вечно ждущих ревизии ОБХСС, ни директоров доржилкомхозов, ни жиревших на недоливе торговцев керосином, ни сухогрудой поэтессы в горжетке из драной лисы, пишущей в районную многотиражку стихи про весну и прилетевших в перелесок снегирей, у которой и была куплена Мальцовым эта квартира. В городе про дом ходили дурные слухи, но они с Ниной не побоялись, купили жилплощадь по дешевке и жили себе тут сладко и любили друг друга до поры. Теперь, в одиночестве, он собственной кожей прочувствовал, что люди понапрасну не наговаривают – даже водка не спасала от стылого холода этих стен.

Пришлось растопить печь. Высокая, обложенная старинным кафелем, она потребляла мало дров, зато тепло держала почти двое суток. Мальцов сел на пол около открытой заслонки, глядел на огонь, отпивал из бутылки глоточками, как бабкин кипяток с малиной, лечился известным способом – так традиционно поступали постояльцы этого древнего общежития.

Огонь загудел в боровах, энергия погибающего дерева вошла в кровь, на лбу выступила испарина. Он смотрел на языки пламени, льнущие к кирпичам, как цыганские цветастые платья льнут к налитым силой телам таборных танцовщиц. Истребляемые огнем еловые поленья трещали, как кастаньеты. За окном ветер рвался из-под туч, студеный, резкий, но без дождя. Ветер раскачал тополя на берегу реки, ветки гнуло в татарские луки, листья дрожали в трансе.

Тени высоченных тополей в серебряном свете луны сплетались в тревожные фигуры, тремор листьев передался ветвям, просочился в стволы – змеерукие ветви за окном исполняли примитивный танец, полный особого, тайного смысла.

Он добрался до дивана, упал лицом вниз и увидел вдруг большой зал Правящего Неба в Каракоруме. Здесь собирались только на самые важные заседания. Посредине зала в козлоногих китайских жаровнях горел огонь. Хан Угедей, третий сын Чингиз-хана, лежал на высоком резном ложе, укрытый по грудь стеганными одеялами с вшитыми в тесьму сирийскими бусинами, чьи глазки́ охраняли от нечистой силы. Его перенесли сюда вчера из Большой юрты, стоявшей в пустынном, напоминавшем монголам степной простор, внутреннем дворе грандиозной дворцовой постройки. Угедей был по обыкновению мертвецки пьян. Хан бормотал бессвязные слова, правая рука, привыкшая держать поводья Белохвостого, сейчас вцепилась в одеяло, как будто он хотел приглушить ярость коня, рвущегося перенести всадника в дальний край безлюдной Великой Степи. Повелитель мира дышал тяжело, губы его посинели и вдыхали воздух жадно, но мелкими глоточками, словно воздух был его любимым кайфынским вином, которым он так и не сумел напиться за всю свою жизнь.

Рядом тесной группой стояли ближние вельможи. Впереди высокий и кряжистый одноглазый Субудай, самый верный Чингизов полководец, командовавший правым крылом Великого похода в северный Китай. Похода, который из-за грозной болезни хана пришлось теперь приостановить. По правую руку от Субудая стоял Толуй – младший сын Чингиз-хана, в китайском походе он вел левое крыло войска. Двенадцать непрестанно творящих заклинания шаманов в чудно́й одежде с косичками, бусами и бубенцами расположились полукругом у одра Угедея. Дым от шаманских кадильниц, едкий, как дым кизячного костра, сплетался с благоуханным дымом жаровен, доставляя хану дополнительные страдания. Угедей заходился утробным кашлем, и тогда один из шаманов поил его из белой фарфоровой пиалы горьким отваром. Хан давился, грязное темно-зеленое, как яд тростниковой змеи, зелье выливалось на одеяло, стекало по сальному подбородку на безволосую грудь. Но дым и отвар были священными: они, как и бусы на одеяле, отгоняли злых духов и очищали умирающего.

Вчера прорицатели гадали по внутренностям убитых животных и пришли к выводу, что причина тяжелой болезни хана – бушующие внутри него духи земли и воды. Необходимо было принести жертву – выбрать особенного человека, который впустит злых духов, терзающих хана, в свою печень. Начали спешно отбирать молодых и крепких пленников, окропили землю вокруг дворца молоком сотни белых кобылиц, пустили пленникам кровь перед порогом дворца, но хану стало еще хуже. Духи выталкивали сквозь синие губы синюю злую кровь, отравленную, не оставляющую почти никакой надежды. И тогда перед шаманами выступил младший хан – Толуй. Любимец войска, одержавший множество побед в китайских кампаниях и в войнах с мусульманами в Азии, наследник самого лакомого куска империи – центральных монгольских земель, в своем улусе он был почитаем людьми как честный и справедливый, но строгий правитель. Толуй родил четырех сыновей, он крепко стоял на ногах. Он никогда не знал болезней, никогда не пил презираемого монголами вина, только традиционный айран – перебродившее кобылье молоко. Младший брат любил старшего Угедея. Непоколебимо преданный ему, как стрела луку, сабля руке, чтящий семейную кровь превыше жизни, он вышел перед всеми, ударил себя в грудь кулаком и сказал громко, словно обращался к стоящему войску:

– Читайте, шаманы, свои заклинания, заговаривайте воду!

Он предлагал свою печень, добровольно выбирал уход в иной мир, чтобы великий хан смог жить дальше и править неисчислимыми землями, собранными в единый кулак их великим отцом.

И вот все собрались в зале, суровые и сосредоточенные, понимая, что́ им предстоит сейчас пережить. Шаманы жужжали, как рой диких ос, дергались и приплясывали, глаза их,

отрешенные и чужие, нечеловеческие вовсе, обозревали иные миры, и лишь старик – главный шаман – стоял твердо и прямо и держал перед собой небольшую нефритовую чашу. Одноглазый Субудай кивнул. Толуй сделал шаг, принял чашу и, не отрывая взгляда от брата, выпил ее одним глотком, как и пристало багатуру. Старик-шаман простер руки к верхнему миру, что раскинулся высоко за облаками, за Великим Синим Небом, запрокинул голову и отлетел к дальним пределам на поиски блуждающей в них души Угедея. Тело шамана, как бумажная фигурка из китайского театра теней, приклеилось к каменному полу в неестественной для живого позе. Изо рта его исторглись звуки, подобных которым не издавало ничто в известном монголам мире – ни скрипящее в бурю дерево, ни степные ветры, ни маленькая бурая птичка, живущая в камышах и оплакивающая на восходе и закате своих деток, пожранных алчным камышовым котом, ни волки, приветствующие сильную луну, ни кричащий младенец. А вместе с тем в воплях шамана угадывалось всё это и многое другое – каждый сам для себя решал, что он в них расслышал.

Толуй стоял навытяжку, прижав стиснутые кулаки к бокам. Видно было, что это дается ему напряжением всех жил еще сильного тела. Но вот его ноги начали мелко дрожать, и тогда Субудай, крепко обняв героя за плечи, подвел к постели хана. Уложил Толуя на спину рядом с больным, пропихнул руки младшего под руки Угедея – тот ничего не заметил. Напиток растекся по жилам и начал действовать – губы у Толуя посинели, заплетающимся языком он препоручил свою семью заботам старшего брата. Угедей вдруг приоткрыл глаза и снова погрузился в беспамятство. Толуй быстро слабел. Соргахтани, его любимая жена, склонилась над головой мужа. Субудай стоял рядом, готовый подхватить ее, если потребуется, но крепкая женщина не обронила ни слезинки. Главный шаман внезапно затрясся, рухнул на пол, задергался, как издыхающая овца, и замер. Секунды потребовались ему для перехода в мир людей, он вдруг вскочил словно ужаленный и сделал несколько шагов в сторону ложа. Он возложил свои руки братьям на головы, через свою печень, как через мост, соединил их жизненные энергии. Визг камлающих колдунов мгновенно умолк. Шаманы вросли в пол, словно огромные кувшины-хумы в зернохранилище. В павшей на всех торжественной тишине все расслышали последние слова уходящего Толуя:

– Всё, что хотел я сказать, я сказал. Опьянел я.

Глаза закрылись. Дух покинул его тело.

Наутро хану Угедею стало лучше. Поддерживаемый двумя заклинателями, он встал с ложа и помочился в глиняную миску. Моча дала обильную пену, что свидетельствовало о чудесном выздоровлении. Ему рассказали о жертвенной смерти брата, жестокий правитель и смертельный пьяница затребовал большую чашу вина и плакал над ней как ребенок.

…Мальцов проснулся посреди ночи. Случившаяся в 1231 году смерть Толуя, подарившего брату десять лет жизни, о которой он читал в «Тайной истории монголов», не оставляла его. Он сходил в ванную, умылся, но голова была тяжелой и мутной. По преданию, Мальцовы происходили от Толуя, точнее, от одного из потомков его правнука Тугана. Туган бежал из Китая, где осела эта ветвь рода, от преследований хищноглазой родни и какими-то неведомыми путями переместился в Солхат – крымскую вотчину Мамая. Оттуда после гибели Мамая, разбитого наголову в 1380-м ханом Тохтамышем, он удрал в Москву, принял крещение и получил надел от великого князя Дмитрия Ивановича. От Тугана, как рассказывала прабабка, пошли на Руси Старшовы, Мальцовы и Туган-Барановичи. Мальцовская ветвь потеряла свои земли еще в восемнадцатом веке, обнищала и, что редко случалось, перешла в иное сословие – дед был священником в пятом поколении. Прабабка любила рассказывать, что Белая Волчица, явившаяся в самый важный момент жизни Чингиз-хану, когда тот был еще степным бродягой-грабителем, приходила потом и к его сыновьям, и к их потомкам. Мальцовский дед – соборный протоиерей Вознесенской церкви в селе Большое Котово – якобы видал ее за день до того, как явились чекисты и отправили его в Воркуту. Дед отсидел десять лет, вернулся после лагерей

в свой дом и успел похоронить мать и понянчить внука, но про Белую Волчицу никогда ему не рассказывал.

В Воркуте дед повидал и Рюриковичей, и Гедиминовичей, и Чингизидов, но людей ценил не за древность крови, а за их поступки. Служил в своей церкви тихо, чинно и, что удивительно, внука за собой не тянул. На искренний вопрос школьника-пионера, почему он никак не может поверить во Христа, дед ласково щурил глаза и отвечал: «Искра должна проскочить, жди искру, иначе бессмысленно всё». В доме деда постоянно ночевали беглые попы, какие-то игумены и тишайшие и ласковые монашки. Мальчиком Мальцов слушал их непонятные рассказы и сердцем чуял: люди эти были очень хорошие, но почему-то несчастные.

Столкнувшись с новоиспеченными священниками, завладевшими древним Ефремовским монастырем и наименее разрушенными городскими церквями, воюя с ними за сохранность памятников, которые они бросились поновлять так, будто вселились в обыкновенные обветшалые дома, требующие веселенького ремонта, он хорошо усвоил: нынешние полуобразованные попы не похожи на тех, что он наблюдал в детстве. Не видел он в них искры, про которую говорил дед, впрочем, он и в себе ее не ощущал. Сожалел иногда, но не ощущал, факт.

Ветер стих, потеплело; от тополей, стоявших в жидком тумане, поднимался в небо парок, как от лошадей в деннике, пробежавших рысью тридцатикилометровый дневной перегон. Деревья спали, и лишь изредка судорога проходила по их мощным кронам – вероятно, им снилась буря, которую они только что пережили.

Голова трещала, но всё же хватило сил не пить – в бутылке оставалось еще больше половины. Мальцов крепко завинтил крышку, спрятал ее в угол за ящики с керамикой, выпил стакан невкусной стоялой воды и завалился спать. Последнее, что он помнил, был тихий и тоскливый вой Белой Волчицы. Она тянула ноту, рожденную где-то в подвздошье, свистящую и хриплую, как поют легкие, пробитые стрелой. Уже засыпая, понял, что не задвинул заслонку, и это ветер тянет из печной трубы драгоценное тепло. Сил закрыть печь не было. Он провалился в сон и очнулся уже утром.

Солнце било через окно прямо в глаза. Яркое и по-утреннему животворное.

Мальцов встал, почистил зубы, выпил стакан кефира. Похмелье его не мучило.

– Толуй забрал похмелье, – сказал он, горько усмехнулся и сел к компьютеру.

2

Писем не было, все словно забыли о нем. Четверо сотрудников, уволенных вместе с ним, не писали и не звонили, что было странно. Впрочем, он сам, уходя из музея, назначил разбор полетов на понедельник. Он, будто предчувствуя новое предательство, затаился, как в подполье ушел, не мог тогда ни думать, ни действовать. Надо было отлежаться, посоветоваться с Ниной, но совета от нее он не получил, увы. Мальцов отключил почту, автоматически кликнул на клыкастого красного дракона, скалящегося на рабочем столе. Сыграл в маджонг – на удачу. Кости убирались легко, первая игра всегда была простой, компьютер заманивал, чтобы затем выдать уже более сложные расклады.

Этим утром он сыграл один раз, победил и из суеверия больше играть не стал. На экране высветилось: «if justice rules the universe, we are all in trouble»[1]. Обычно он не обращал внимания на эти предсказания, но сегодня обратил. Предсказание было отвратительным, что укладывалось в его теорию.

– Татарове, чистые татарове, – пробормотал он любимую цитату из «Дней Турбиных», выключил компьютер и вышел из квартиры.

Цыганка Танечка в синем плюшевом халате и босоножках стояла у подъезда и лузгала семечки. Мощенный древним булыжником двор был весь усеян шелухой. Рядом с Танечкой сидели три ее драные кошки, вечно гадящие в подъезде.

– Здрась, че, эт, спозаранку? – половину звуков она проглотила вместе с неразжеванными семечками.

Он кивнул в ответ. Танечка была в подпитии. Похоже, проводила очередного ухажера и задержалась на свежем утреннем воздухе – дома у нее воздух был спертый и вонючий. Дети у Танечки плодились с невероятной быстротой и так же быстро то исчезали, то появлялись снова. Никто не знал, те же ли, что исчезли, или зависавшие у нее залетные ромы подкидывали ей своих в обмен. Конечно, она не работала, конечно, гадала на картах и не отказывала ни одному распоследнему мужичонке, что просился на ночлег с бутыльком. Добиться, чтобы Танечка убирала хотя бы за кошками в подъезде, было невозможно.

– Вчера на тебя гадала, – Танечка посмотрела исподлобья, – дорога у тебя плохая будет, пиковая, пересиди день дома.

– Иди спать уже, – бросил он беззлобно, поддал ногой ворох шелухи, и она разлетелась по булыжнику и совсем уж некрасиво, мгновенно прилипнув к мокрым камням, заснула на них, как Танечка, что вырубалась у себя дома нагишом на топчане, покрытом колючим солдатским одеялом. Она не стеснялась ползающих по полу запущенных детей и соседей, заглядывающих в открытую настежь дверь.

Ощутив вмиг свою полную беспомощность, он нагнул голову и зашагал по направлению к Крепости. Высокий берег Деревы был сложен из мощных известняковых плит. Там, где город был разбит войной, на пустырях среди развалин старого мельзавода купцов Алиферьевых порода обнажилась, выветренные, потрескавшиеся пласты, все в бородах оползней, наплывали один на другой, как морщины на грудях у старухи. Кое-где встречались пещерки-комнатки – остатки смолокурен, или дровников, или каких-то еще подсобных сооружений прошлых времен, в которых летом любила собираться городская молодежь. В этих дармовых приютах посреди города, на длинном, вытянутом вдоль реки пустыре, куда многие горожане не отваживались заходить даже днем, у входа в пещерку палили высоченные костры. Пламя костров стелилось по ветру во мраке, дым мешался с речным туманом, и вокруг темного зева, уходящего на несколько метров в скалу, разлетались горячие цепочки искр. В свете огня глаза

[1] Если справедливость правит во Вселенной, мы все в беде (*англ.*).

собравшихся казались застывшими. Здесь жарили на огне хлеб на палочках и пекли в золе картошку, щупали девчонок, целовались, как полагалось, «без языка», ставили «засосики», горланили хором «Шизгару», «В Ливерпуле, в старом баре, в длинных пиджаках», «Девушку из Нагасаки», устав, переходили на протяжные воровские баллады с печальным и нравоучительным концом, в перерывах неслись наперегонки под откос к реке. Девчонки глубоко в воду не лезли, брызгались на мелководье, смешно подергивая попами в белых синтетических трусиках, блестевших в лунном свете, как рыбья чешуя. Парни купались голышом. Они врезáлись в воду табуном и плыли кто скорей по серебристой лунной дорожке сквозь страшные ночные травы и путающиеся в ногах кувшинки – русалочье одеяние. Преодолев тугую ночную воду, парни победно скакали в высоком бурьяне противоположного берега, тоже мертвого, незаселенного, изъеденного войной, прыгали на одной ноге, выливая попавшую в уши воду. Там, на другом берегу, их ватага протаптывала целые тропинки, носясь наперегонки, как жеребята, дорвавшиеся в ночном до воли, крапива стрекала по голым ляжкам, но им было плевать, они только тыкали друг в друга пальцами, хохоча над сморщенными от холодной воды пиписьками, похожими на лежалую неуродившуюся морковку, кричали дурными голосами, залихватски матерились, подначивали новичков прыгнуть бомбочкой в глубину омута у насосной станции, что считалось верхом геройства.

Девчонки поджидали их в пещерке; уже одевшись, отжав трусики и высушив полотенцем волосы, сидели, протягивая покрытые гусиной кожей руки к огню, и делали вид, что не глядят на уставших героев, вылезающих из сонной воды. И конечно, глядели, и шепотом обсуждали подсмотренное. Под утро, угомонившись, сморенные пьяным воздухом и деревенским самогоном, засыпали вповалку. Нацелованные лихие вакханки, что оставались на гулянках до утра, тесно прижимались одним бочком к парням, другим – к впитавшим тепло известняковым плитам самодельного очага, благо этого добра было вдосталь.

Мальцов вспомнил Катю Самоходиху, с которой гулял в юности. Они целовались тайно, по-взрослому или по-цыгански, то есть «с языком», – засовывали поочередно язык глубоко в рот друг другу. Это считалось запретным, но многие пробовали и потом бахвалились перед малолетками. Толстый Катькин язык затворял горло, заставлял сопеть носом – ничего приятного в этой процедуре не было, но почему-то после таких поцелуев им становилось весело и беспричинная радость заливала грудь. Он валил Катьку навзничь, мял тугие маленькие груди как раз по размеру ладоней, но путешествующую вниз пятерню она отталкивала обеими руками и гневно шипела: «С ума? Увидят, ты чё, Ванька!» Мальцов поспешно отдергивал руку, и они устраивались на спинах поближе к жару костра, рядышком, щека к щеке, слушали возню и сладкий шепот друзей и приятельниц и ровный гуд комарья, отпугиваемого едким дымом. В головах гулко звучала веселая кровь, настраиваясь на ритм привольного тиканья мира, который и услышишь только в такие минуты, когда он раскрыт, распахнут весь что вширь, что ввысь. Небо было утыкано звездами, казалось, некуда вонзить и щепку – так густо Млечный Путь заливал небосвод. Где-то рядом шуршал осыпающийся со стен камень: скала росла в ночи и дышала. Катька заставляла его приложить ухо к отполированной ногами плите пола и побожиться, что он слышит. Раскопав в соломенной подстилке окошечко, он прижимался ухом к стылому известняку, и слышал, и божился, а потом целовал ее и так, и по-цыгански.

Камень тут добывали издавна. В княжеские времена пиленые прямоугольники везли в санях по зимнику в Москву, позднее сплавляли на баржах в судорожно строившийся Петербург. По низкому берегу над кромкой воды проходил бечевник – лошадиный путик. Кони тянули баржи-дощаники, что сколачивали тут же за городом около целого сплота частных лесопилен, приносивших деревскому купечеству верный доход, благо лесá кругом стояли сосновые, строевые, богатейшие. В дощаниках везли через Деревск зерно с Низа, необработанные козлиные кожи и мягкую юфть из Твери, деревские звонкие доски и белый деревский камень. В Питере баржи вытягивали на берег и разбирали на дрова: тянуть их порожняком назад было

невыгодно. Камень всегда был в цене: хоть клади из него облицовку фундамента, хоть вытачивай завитушки фризов, хоть вырезай листья-волюты, свисающие с толстых колонн, необхватных и кичливых, стараясь переплюнуть узоры лекал, доставленных из богатой дождями и серебром Голландии. Там была другая, столичная земля, пропахшая заморским табаком, пересекшим океан в пустых бочках из-под ямайского рома и впитавшим его дьявольски сладкий привкус, безбородая, развратная и жестокая, где ветер с немецкого залива вынимал у людей из груди души, аки падший Сатанаил, чьим попущением всё там вертелось.

В старых штольнях и карстовых пещерах в десяти километрах от Крепости постоянно тренировались спелеологи из Москвы. Говорили, что некоторые пещеры уходят вглубь на десятки километров, и, конечно, существовала обязательная легенда, что из Крепости шел подземный ход под рекой, выходящий далеко-далёко в чистом поле. Как ученый, он понимал, что это ерунда, и только улыбался, когда ему рассказывали всякие ужасы о подземельях: о потайных озерах с увитыми сталактитами сводами выше и красивей, чем в Грановитой палате Кремля, о татарских кладах – несметных горах золота и серебра, жемчуга и драгоценных каменьев, упрятанных в глубоких ямах, заколотых ножами и булавками, запертых в дубовых сундуках навек тяжеленными замками, от одного прикосновения к которым крошились даже самые закаленные свёрла, и о заклятиях, сторожащих сокровища пуще сков и железа, призванных из рек шумящих, из ручьев гремящих, от нечистых духов-переполохов, что наложили на них гундосым ведовским шепотом запрятавшие их богачи. Никаких подземелий, понятно, не существовало, как и лаза под водой: на противоположном берегу выходов известняка не наблюдалось, материком там была синяя моренная глина.

Старожилы говаривали, что перед самой войной в пещерах энкавэдэшники устраивали схроны – свозили и прятали оружие и тушенку, галеты, соль и сахар, спички и патроны для партизанского сопротивления на случай, если деревские земли захватит враг. После войны эти схроны искали целенаправленно, но не нашли, довоенный архив секретной организации сгорел от прямого попадания бомбы. Энкавэдэшников сдуло военным ветром, и никто уже не мог сказать достоверно, были ли они на самом деле, или только померещились двум-трем инвалидам, рассказывавшим байки о подземельях за дармовую водку, что наливали им слушавшие их россказни столовские обыватели. Чудом выжившие в Великой войне, они вспоминали ее поденно в закрытом кругу понимающих, составлявших некий орден, куда пускали только тех, в чьих глазах навсегда застыли неподдельные холод и боль.

Крепость стояла на самой круче у реки. Неподалеку, на любимом взгорке в сотне метров от старых стен, откуда она была видна как на ладони, он обдумает, как убьет Маничкина.

Засада заключалась в том, что Мальцов даже курице голову срубить не мог, всегда отворачивался, когда бабушка делала это в Василёве. Не мог забыть, как петух, уже лишившийся головы, вырвался у бабушки из рук и принялся бегать кругами по двору. Бессильные крылья свешивались с боков, но ноги истерично перебирали утоптанную землю перед курятником. Страшная голая шея, выскочившая из свалявшегося воротника перьев, кровоточащим темным колом торчала из нее, и в воздух, как из пережатого шланга, били черные струйки. Безголовый обежал два круга и только потом рухнул на бок. Костлявая нога проскребла когтем по земле, но, не удержав ее, сжалась в крюк, захватила лишь кусочек незримого воздуха и тут же застыла, как кованая кошка, которой достают из колодца утопленные ведра. Ванька не притронулся к бабушкиному бульону, плакал ночью долго и тяжко, пока дед не сел рядом и не положил свою крепкую, теплую руку ему на голову, как делал сотни раз, принимая исповедь у прихожан. Чистые льняные простыни почему-то запахли морозной свежестью, тени по углам перестали метаться, а блики света от лампадки из цветного стекла казались теперь волшебными, праздничнo-новогодними и больше не напоминали темную петушиную кровь. Он продавил головой в подушке гнездышко, подтянул ноги и свернулся калачиком, вслушиваясь в мерное дыхание

деда. Тот безмолвно творил про себя Иисусову молитву. Мальцову стало тогда хорошо, спокойно, и он заснул. Но безголового петуха запомнил на всю жизнь.

«Зашить ему, Маничкину – существу подлей собаки, – произнес он страшное ордынское ругательство, – все верхние и нижние отверстия, закатать в войлок и бросить в реку». Такой бескровной казни удостаивались у монголов только преступники ханского рода, простым воинам, а также ворам и мздоимцам, каковым был директор музея, секли головы, что считалось невероятным позором. В особом случае могли, правда, и сре́зать с тела триста кусочков мяса, запихивая их в рот осужденному.

«Если справедливость станет править Вселенной, нам всем хана», – вспомнил Мальцов китайское предсказание. В гробу он видал эту сегодняшнюю справедливость, построенную на откатах, этот музей и это министерство культуры…

Он давно прошел руины мельзавода, свернул на Кирова, бывшую Посадскую. Миновал серую трехэтажную школу, которую закончил и где до переезда в Тверь преподавал отец, мимо аптеки, где работала мать, мимо развалин пивного завода Раушенбаха.

Немцы сбросили на завод несколько бомб, и люди, невзирая на бомбежку, тут же рванули в цеха к разверстым бродильным чанам. Очевидец рассказывал ему со смехом, как под налетающими самолетами мужики и бабы тащили, кто в чем, погибающее в пожаре крепкое, не отстоявшееся еще пиво, черпая его из огромных луженых чанов. Даже на лодках приплывали за пивом с другого берега. Пьяные валялись в тот день на улице Кирова, а немецкая авиация бомбила и бомбила город, в котором расположились штаб фронта и три больших военных госпиталя. В одном из них, кстати, лежал тогда отец с первой своей раной, спасшей ему жизнь. Из той отцовской роты выжили четверо, и всё благодаря легким ранениям.

Деревск немцы не взяли. Война остановилась в нескольких десятках километров. Тут она переросла в страшную позиционную, пожиравшую людей, как ненасытная мартеновская печь жрет специально приготовленный для нее кокс. Полтора с лишним года, пока длилось это адское стояние, подводы и грузовики везли нескончаемый поток раненых в городские госпитали.

5 марта 1238 года город взяли татары. Не нынешний, по которому он шел. Даже не Крепость, сложенную позднее из местного известняка, вдали от города, как форпост на новгородской границе. Город там не прижился, в пятнадцатом веке какие-то особо мудрые посадники решили перенести поселение, но люди упрямо продолжали жить на старом месте, и Крепость захирела, а небольшая слобода под ее стеной выродилась в простую деревеньку. Татары атаковали то, что теперь называлось Нижним городищем. Этот «объект государственной охраны», заросший кустами и некосимой травой, истыканный старыми пнями, находился в центре города над водой. На нем каждый год и работала мальцовская экспедиция.

Тот первый город Батый сжег дотла: «*исекоша вся от мужеска полу до женска, иерейский чин все и черноризский, и все изобнажено и поругано, горькою и бедною смертию предаша души своя господеви*».

Три недели – ровно столько понадобилось монголам, чтобы одолеть осажденных, но эти недели задержали их медленно текущую орду. Каждый воин вел пять и более лошадей. Сто двадцать килограммов мяса от забитой лошади легко могли накормить сотню воинов. Воины вели за собой семьи, а те гнали перед лошадьми и верблюдами, груженными юртами, по тридцать и более овец. Это был переселяющийся народ, оккупанты и колонисты: сто тысяч человек, триста тысяч лошадей и около двух миллионов овец вытаптывали и выедали огромные пространства, оставляя позади обглоданную пустыню. Трехнедельной задержки хватило, чтобы спасти Великий Новгород. У Игнач-креста, на близких подступах к столице северной Руси, монгольские тумены повернули назад: весной монголы всегда заканчивали войну и откочевывали в свои привольные степи. Мудрые и богатые новгородцы, зная участь сожженных дотла русских городов, уяснили главное правило: сдавшихся добровольно монголы не трогали. Взве-

сив все «за» и «против», новгородцы решили откупиться: отправили к хану Батыю посольство и приняли Ясу – Чингизов закон. А после, войдя в состав растянувшегося от монгольских степей до Самарканда и от Каспия до Волхова грандиозного государства-паразита, платили-платили-платили из последних сил. Спасли дом Святой Софии, но весь тринадцатый век даже церквей не строили: все деньги улетали по хорошо налаженным путям на берега Итиля – в Орду, а уже оттуда в далекий Каракорум.

Когда они копали на Нижнем городище, на трехметровой глубине всегда появлялась почти метровая прослойка Батыева разорения: жирный уголь, перемешанный с пеплом, землей и коровьим навозом, в который въелись спекшиеся куски стеклянных браслетов, обгоревшая керамика и изъеденные огнем бревна – нижние венцы срубов. В слое сохранились брошенные вещи: ножи, топоры, просыпавшиеся сквозь половицы бусины, ножницы для стрижки скота, обрывки цепей, дверные замки, ключи от них, косы, точильные бруски и многое-многое другое – хлам и абсолютно новые вещи, не нужные уже никому, кроме археологов. Ученые извлекали их из слоя с жадностью, присущей этой профессии. И везде на этом останце кровавой трагедии притаились впившиеся в землю маленькие и злые татарские стрелы – те, что пролетели мимо и не отведали человеческой крови. Они взмывали в небо темным облаком, сорвавшимся с тетив простых, но крепких степных луков. В маленьких раскопах, которые отрыла за двадцать пять лет экспедиция Мальцова, счет стрел велся на сотни, но всё же для общей статистики их было маловато. Англичане посчитали, например, что в битве при Хаттине, где в 1187 году султан Саладин разбил крестоносцев, было израсходовано миллион триста тысяч стрел. В отличие от воинов Саладина, которым стрелы поставляли лучшие мастера-стрелоделы того времени, монголы делали свои простые луки и стрелы к ним сами. Набрать во время похода нужных веток и настрогать коротких стрел было их прямой обязанностью, за этим неотступно следили ретивые десятники. Кроме стрел у осаждавших город имелись стенобитные машины – пороки, как их называли на Руси. Чудовищные орудия монголы позаимствовали у просвещенных китайцев. Высокие и страшные шагающие башни со специальными во́ротами в брюхе, которыми оттягивали рычаги с противовесами, походили на одноруких великанов. Пороки забрасывали крепость смертоносными камнями и горшками с зажигательной смесью, отчего дымный воздух был пронизан особым пугающим гулом, в который врывались визгливые крики и улюлюканье тысяч иноземных глоток и хищное пение стрел, роем висящих в небе, жалящих защитников и несчастных жителей. В раскопах, стоя на слое пожарища, Мальцов всегда представлял себе небо, залитое едким дымом, и стрелы, летящие сквозь темень и огонь безжалостным нескончаемым потоком. И всё же горожане выстояли три недели – двадцать один день ада, огня и крови, а потом «*беззаконши*», как называет монголов летописец, быстро обезглавили косыми степными саблями измученных, но не сдавшихся – всех, включая женщин и детей.

В этом году на долю экспедиции выпала невероятная удача: они нашли клад – деревянное ведро, зарытое под обгоревшими бревнами. Сруб выгорел дотла. Серебряные дутые звездчатые колты были уложены поверх височных колец, которые женщины вплетали в прическу, привозные каменные и глазчатые бусы – остатки ожерелий – перемешались с кусками хорошо сохранившейся льняной воротной ткани от рубах. Ткань была расшита богатой золотной нитью: мощнокрылые умиротворенные ангелы, окаймленные типичным древнерусским орнаментом – плетенкой, облегали когда-то лилейные шеи, охраняя и украшая владелиц этого сокровища. Верхний слой вещей спекся от жара – московские реставраторы всю зиму расчищали драгоценный ком, и вот теперь вещи были готовы лечь на зеленое сукно выставочных стендов. Но Маничкин издал приказ: экспедиция распускалась, шестеро ее сотрудников получили расчет и больше не числились служащими музея. Двадцать пять лет Мальцовской жизни были перечеркнуты одним росчерком пера.

Он поклялся: клад Маничкину не отдаст, отправит в новгородский музей, в крайнем случае в нелюбимую Москву. У Маничкина вещи сгинут, как чуть было не сгинули древнейшие

фрески. Пять лет назад они месяц ползали по склону городища, вылавливая из осыпавшегося слоя кусочки раскрашенной известки. Когда великий Барсов добился разрешения построить на месте разваливающейся церкви двенадцатого века свой классицистический танк, как называли археологи огромную желтую гаргарину, стоящую на краю обрыва, у бывшей стены Ефремовского Борисоглебского монастыря, старинную церковь просто спихнули с обрыва, забабахали в землю мощные фундаменты и возвели крестообразный храм с толстопузыми колоннами. Однажды ранней весной, взбираясь на городище, Мальцов увидел в промоине кусочек фрески. Заложили раскоп и выловили тридцать тысяч фрагментов уникальной росписи. В Новгороде, в разрушенных немцами церквях на Волотове, Ковалеве и Нередице такие работы велись с пятидесятых годов, и реставраторам удалось спасти-восстановить большие куски древней живописи. Мальцов потребовал тогда у Маничкина теплое и сухое помещение для хранения находок и специальные лотки.

– Нахрена мне эта требуха!

Мальцов, не в силах сдержать возмущение, орал на него тогда, непристойно махал руками перед носом директора на глазах у остолбеневших сотрудниц музея.

– Музей не прорабская контора, ты тут наживаешься на крови, да-да, на крови людей, когда-то защищавших наш город! Музей должен! обязан! собирать и сохранять остатки старины, а ты строишь дачи генералам в Подмосковье! Я выведу тебя на чистую воду, козел!

Утратив страх и осмотрительность, он грозился писать на самый верх и так напугал, что добился и лотков, и помещения. Маничкин тогда промолчал, но не забыл и зло затаил. С тех пор их отношения окончательно испортились. После истории с фресками директор уедал экспедицию везде, где мог, это превратилось для него в любимую игру – досадить археологам. Когда же из министерства спустили указ сократить штат, он наконец отыгрался – разогнал экспедицию, о чем радостно отрапортовал наверх.

Маничкин заслуживал казни, монгольской, изощренной, ему, сатрапу, бездарю и вору, следовало бы сидеть в тюрьме, но близкий друг – прокурор города – никогда бы не дал кореша в обиду. Ведь это через прокурора – понятно, что не безвозмездно, – к Маничкину стекались заказы на отделку генеральских подмосковных дач. Целое подразделение «реставраторов», числящихся на балансе музея, пропадало на подмосковных усадьбах. Маничкин жирел, как помещик за счет крепостных, в девяностые обзавелся связями, построил себе целых два дома: в одном жил сам, в другом, на выезде из города, к пенсии планировал устроить гостиницу.

Мальцов вышел из города. Впереди уже виднелись стены Крепости. Как всегда, при виде ее ему стало спокойней. Он ускорил шаг. До заветного взгорка оставалось с километр.

3

Солнце, маленькое и нестерпимо яркое, било уже из самой высокой точки. Припекало. Мальцов скинул куртку и повалился на нее. Он с детства любил лежать вот так, на пузе, положив подбородок на скрещенные руки. Трава на лугах стояла высокая, спутанная ветром и дождями, коровы и овцы в соседней с Крепостью деревушке давно вывелись. Зелень пахла оглушительно, воздух дрожал от испарений. Далекие деревья, покачиваясь, утопали и выныривали из колеблющейся дымки, казались чуть приподнятыми над землей. Глядеть вверх даже сощурившись, закрываясь ладонью, было больно. Он опустил голову и принялся разглядывать отдельные растения: белый донник – донной в Древней Руси называли подагру, настоями этих цветов ее и лечили; желто-белые ромашки, уже пожухлые, перестоявшие, негодные теперь в парфюмерное дело; крепкие стебли зверобоя-плакуна, обсыпанные медно-имбирными цветками. Бабушка заваривала с ними чай, добавляя еще садовую мяту и душицу. Основой лу́га были высокие, до пояса, травинки с выжженными солнцем до тусклого серебра метелками, называемыми в народе «костер». На местах старого жилья, ближе к реке, на вздымающихся кучах строительного мусора росла жирная крапива, и из нее торчали малиновые хвосты иванчая и тянувшая к солнцу толстые языки, покрытые мелкими белыми соцветиями, густолистая лебеда – ее с древности в голодные годы добавляли в хлебное тесто. Ниже, в темных зарослях, у кустов расположились высокие зонтики болиголова – ядовитым соком этого сорного растения, по преданию, отравили Сократа.

В зеленых зарослях он разглядел и букашек, что проживали в этих тенистых джунглях веки вечные: усатых бронированных жуков, самовлюбленных кузнечиков, пучеглазых мотыльков-дневок, мелких бесшабашных бабочек, хищных полосатых ос и наглых мушек, жирногузых мокриц и волосатых сороконожек. Кругом кишел микромир, подчиненный тем же знакомым законам существования: одни поедали других, другие – третьих. Энергия солнечного света переходила по пищевой цепочке в новые формы жизни, видимые глазом. В них, доступные только увеличительному стеклу электронного микроскопа, царили простейшие грибы, паразиты, вирусы. Они холодно и оценивающе присматривались к иммунной системе хозяина и совершали невероятный финт: либо обманывали ее, надевая шапку-невидимку, либо просто и жестоко подчиняли своим потребностям. Результат был всегда один – кормежка за счет порабощенного существа. При этом оккупант иногда щадил хозяина, иногда превращал в послушного зомби, готового умереть по приказу микроскопического господина. Понятно, что убивец успевал соскочить с умирающего, и тут совершалось чудо: он целиком преображался, менял одну личину на совершенно другую, чтобы разбойничать дальше. Теперь он паразитировал на другом виде живых существ, более подходящем его новому обличью. Его многочисленное потомство вылуплялось и вырастало в первой ипостаси, вновь закрепляясь на первом виде, повторяя путь прародителей, чтобы продолжить нескончаемый цикл чудесных перерождений. И тем не менее это вызывало у Мальцова не ожидаемый, казалось бы, ужас, а, наоборот, чистую эйфорию. Уже не хотелось грузить себя возникшей проблемой: как-нибудь он решит ее, или она сама решится.

Над лугом гудели шмели, дружественная человеку стрекоза зависла над его головой, повисела какое-то время, села ему на плечо. Мальцов замер, скосил глаз, и они немного поизучали друг друга. Стрекоза вспорхнула и растаяла в теплом дрожащем воздухе.

Он поднял голову, перевел взгляд на Тайничную башню, потом на Водовзводную, потом на Никольскую – любимую. К ней прилепилась самая нелепая из известных ему колоколенок. В семнадцатом столетии в углу крепости построили Никольский храм, а на стенах ненужной теперь башни поставили маленькую колокольню. Крепость возводилась по старинке в конце пятнадцатого века, когда преимущество пушек на войне не всем было понятно, и

поэтому почти сразу устарела. Дурацкий проект посадников с переносом города провалился, но свою функцию форпоста Новгородской республики Крепость выполнила – отразила нападение литовцев в 1428 году.

Теперь она стояла пустая. Церковь, правда, действовала, некоторые горожане ходили сюда на службу. За крепостными стенами растянулось одно из деревских кладбищ – прихожане были традиционно связаны с погостом. Еще в Крепости стояла изба – бывший шахматный клуб. Мальчишкой Мальцов занимался здесь, шахматы были тогда в моде. Ездил на соревнования, заработал первый взрослый разряд, потом и звание мастера спорта, а дальше в университете заниматься шахматами уже не хватило времени. Клуб закрыли в начале перестройки, с тех пор дом, числившийся на городском балансе, стоял заколоченный. В какой-то момент Маничкин хотел прибрать его к рукам, но прибрал ли – Мальцов не отследил, тогда это его мало волновало. Посередине Крепости, на большой несуразной клумбе – наследии безоблачных советских времен, с обязательной гипсовой вазой в центре, – разбили цветник. Мальцов всё примерялся к раскопкам в Крепости, можно было бы поискать фундаменты первоначальной церкви пятнадцатого века, жилые постройки, но Нижнее городище было важнее и до Крепости руки не доходили. Он даже был этому рад. Он любил ее просто так, берёг в душе, загадал, что разобьет раскоп когда-нибудь после выхода на пенсию. Не хотелось трогать ее, она была махонькая, других таких смешных каменных крепостей на Руси не существовало. Шесть башен, пролом на месте Святых ворот, рухнувших еще в восемнадцатом веке, и яркие цветы на клумбе, которые сажала теперь уже не за деньги, а из любви к искусству Любовь Олеговна – старушка из ближайшей деревни. Когда-то она получала за это зарплату: мела дорожки, стригла ветки на деревьях, развела в одном из углов яблоневый сад – когда яблоки поспевали, сад становился любимым местом городских пацанов. Они ломали ветки, рвали яблоки еще зелеными, но деревья выстояли, корявые, старые, как сама Крепость, которую они украшали. Мальцов с Ниной любили ходить сюда на прогулки.

Нина появилась в его экспедиции студенткой, приехала на истфаковскую практику. В первый же выходной он увел ее сюда гулять. Рассказал ей историю осады. В начале пятнадцатого века, когда из-за внутренних усобиц Орда ослабела, Великое княжество Литовское – западный сосед России – представляло грозную силу. Земли его простирались от моря и до моря – от Прибалтики до Крыма. В его состав входили южнорусские земли с Киевом и Черниговом, Полоцком и Смоленском – православие здесь мирно уживалось с католичеством, а польский, литовский и русский были равноправными государственными языками. Литовские князья, связанные с Польшей Великой унией, постоянно воевали: с рыцарями-меченосцами на севере, с татарами на юге, с русскими феодальными княжествами, поддерживая тверских князей, с которыми состояли в кровном родстве, в борьбе против поднимавшей голову Москвы. В 1428 году литовская рать пошла на Новгородскую республику. Первый бой приняла Крепость. На бугре великий литовский князь Витовт приказал поместить пушку. Страшную, тяжеленную, похожую на ведьминскую ступу, поставленную на огромные колеса. Ее отлили невесть где, возможно, генуэзцы: литовское государство владело землями в Солхате, нынешнем Старом Крыму. А может быть, ее изготовили бургундцы, большие мастера пушкарского дела, и ее взяли как трофей в Грюнвальдской битве. В Европе пушки уже грохотали на всех войнах, тогда как на Руси были внове, почитались почти за чудо. Пушка звалась «Галка». Летописец особо отметил имя: все пушки в те времена имели собственные имена, как корабли, викингские мечи и боевые знамена.

Глубокие черные глаза-маслины следили за ним неотрывно, Нина слушала его и дышала медленно и глубоко. Мальцов вошел в раж, начал размахивать руками, чертил перед собой схему расположения войска. Ее щеки покраснели, маленькие груди, похожие на два граната, выпирали из майки, как войско, готовое сорваться в атаку. Она откидывала лезшую в глаза

прядь одним резким движением, как конь, в нетерпении бьющий копытом. Она стояла так близко, что он почувствовал ее тепло, оно пробрало его от макушки до пяток.

– Представляешь, что такое была эта «Галка» в 1428 году? Атомная бомба! В битве при Равенне одно пушечное ядро сбило наземь тридцать три тяжеловооруженных всадника, убив их всех наповал! Горожане смотрели в ее бездонное горло с крепостных стен и истово молились, поджилки у них тряслись от страха, потому что они только слышали рассказы о страшных орудиях, плюющихся огнем и каменными ядрами. А теперь они увидели эти белокаменные ядра, тесанные специальными мастерами, воочию, их бережно скатывали с телеги по одному и укладывали рядом с орудием. Вот отсюда должен был прозвучать выстрел, дав начало атаке. Деревляне стояли на стенах, и лица их покрывались испариной. А сам Витовт расположил свою армию подковой, обняв Крепость, поставил главный шатер почти напротив нас – вот там, метрах в пятидесяти левее Никольской башни.

Ранним утром пушкари начали забивать «Галку» мешочками с порохом. Тогда еще не знали точных расчетов, зелье готовили на глазок – толкли селитру с углем и серой, перемешивали специальными лопаточками и растирали на покрытой шкурой доске. Порох хранился в пушкарской подводе, но одни мешки могли подмокнуть, другие, наоборот, могли быть слишком сухими из-за переложенного угля.

Важнейшей частью пушки была зарядная камера – емкость с толстыми стенками и меньшим, чем у ствола, внутренним диаметром, она находилась в казенной части – заднем конце пушки. У некоторых орудий камера была такой же длины, как и сам ствол, у других это был сосуд, похожий на высокую пивную кружку. Артиллерист на глазок загружал в камеру заряд пороха и утрамбовывал его деревянным банником. Чтобы выстрелить, камеру крепили к казенной части орудия, надежно зафиксировав деревянными или металлическими клиньями, которые упирались в заднюю часть деревянного лафета. Эти ранние громоздкие бомбарды были опасными сооружениями. Рядом с лафетом лежали горкой пороховые заряды для второго и третьего выстрела. Хотя главный пушечных дел мастер был у Витовта известным европейским специалистом, в этот раз он просчитался или в дело вмешалось Провидение.

Только начало светать. Малиновый верх солнца поднялся на востоке над лесом, ртутное зеркало реки покрылось багровыми пятнами. Литовский мальчишка-конюх замешкался с лошадьми на водопое. Тени их тянулись по страшной воде прочь от берега, ноги неестественно выросли и стали тонкими, словно у карамор. Лошади жадно пили воду, от их морд расходились по воде колышущиеся круги. Длинноногие создания покачивались на этой затейливой стиральной доске, кони-чудовища казались забрызганными каплями солнечной крови. Они мерно брели, не удаляясь ни на шаг, словно несли на себе невидимых пока всадников Апокалипсиса.

Высоко на берегу у шатра великого князя взревела труба – сигнал к началу атаки. От резкого звука кровь рванула по жилам, а сотни глоток шумно вдохнули свежий утренний воздух и так же слаженно выдохнули его. Ноздри людей расширились, словно у гончих, почуявших зайца. Все замолчали, слышно было, как травинки от согласного дыхания воинов роняли на землю тяжелые капли росы. Шутки в строю оборвались на полуслове, сердца застучали в унисон. Латники приподняли длинные осадные лестницы – по восемь человек на одну, дерево ударило в железные панцирные доспехи, отчего по рядам прокатился глухой рокот, похожий на ворчание несытого зверя. Осажденные на стенах последний раз перекрестились и следили теперь неотрывно за пушкарским человеком, что поднес к запальному отверстию ярко горящий факел. И «Галка» выстрелила.

Гром небесный, бьющий в степи над головой, был стократ тише рыка, раздавшегося с бугра. Всё утонуло в клубах синего дыма и языках пламени. Ядро просвистело и сбило верхний камень на стене, срикошетило, ударило в Никольскую башню, отскочило от нее и угодило прямо в разноцветный Витовтов шатер. Смело прочную корабельную крашенину, переломало опоры, убило двух княжеских слуг и повалило наземь великокняжеское знамя. Витовт остался

жив чудом: перед выстрелом вышел из шатра, чтобы наблюдать за началом атаки в раздвижную подзорную трубу. В Крепости никто не пострадал. Когда дым рассеялся, на стенах с радостью увидали, что «Галка» стоит с развороченным рылом, казенная часть, отскочив назад, разнесла в щепки лафет. Порох, предназначенный для следующих выстрелов, воспламенился и разом пожрал расчет и самого́ главного пушкаря. Острые осколки разлетевшейся меди посекли еще нескольких непричастных к воинскому делу обозных, стоявших поблизости.

Это было великое чудо! Летописец так и записал о разом закончившемся сражении. Великий князь упал на колени, вознес хвалу Спасителю, что остался живым, и приказал трубить отбой. Осада была снята. Крепость выстояла. Витовт отвернул от Новгорода.

Мальцов помнил, как Нина проворно облизала маленькие пухлые губы, когда он закончил рассказ, подняла на него горящие глаза, словно запаленные тем страшным пороховым взрывом. Он легко коснулся ее ладони, ладонь была мокрой и дрожала. Остро отточенный тонкий ноготь указательного пальца прочертил на его руке затейливую букву, и электрический разряд едва не сшиб с ног. Зрачки ее глаз стали огромными. Тогда он вдруг взял ее запястье и пощупал пульс – пульс был учащенный, как при лихорадке.

– Ты в порядке? – зачем-то спросил Мальцов.

Она вырвала руку и разрыдалась, как маленькая, горько, словно ее незаслуженно обидели. Лицо ее перекосилось и вмиг стало некрасивым. И, сознавая, что натворил, дрожа от чувства жуткой вины, он ухватил ее за рукав, поспешно и оттого грубо, притянул близко-близко и, ощутив яростный прилив силы, сказал громким шепотом: «Прости. Прости, я идиот!» И, не дав ей опомниться, поцеловал крепко и больно. Нина вскрикнула, но не отстранилась. Грудь ее ударила ему прямо в колотящееся сердце, он в восторге ощутил ответные бешеные толчки. Они упали в высокую траву и, на виду у Крепости, целовались, обезумевшие, счастливые.

Мальцов вспомнил, вжался головой в ладони.

Не сказал ей тогда правды, купил на байку лживого летописца. Другая летопись зафиксировала: «Галка» действительно погибла, но Витовт отступил только потому, что новгородцы заплатили одиннадцать тысяч рублей серебром – невероятную сумму по тем временам. В пятнадцатом столетии Новгород давал ослабевшей Орде уже значительно меньший «выход», чем при Батые. Вновь накопившая несметные богатства и силу, республика Святой Софии опять предпочла откупиться. Она ценила жизни своих граждан, и в этом была, вероятно, основная ошибка новгородцев. «Всё дело в деньгах», – утрируя Нинину интонацию, рассказывавшую ему об очередном многомиллионном контракте Калюжного, язвительно произнес Мальцов. Этот лозунг годился и для Витовта, и для московских князей, победивших чуть позднее изнеженных новгородцев.

Доведенная до ручки нищенской музейной зарплатой, Нина в последний год часто попрекала его, толкая к халтуре – пустой трате времени и сил. Мальцов убеждал ее: наука важнее, но, как показало время, не убедил.

Красота луга, Крепости, счастье уединения мгновенно отлетели. И тут зазвонил мобильник. Мальцов вскочил как ошпаренный, бросился искать карман в куртке. Увидел на экране имя. Перевел дух – озлился на себя, что, размечтавшись, ошибся.

– Да, Николай, что надо?

4

– Иван Сергеевич, здоро́во живешь, дорогой.

– Здоро́во, какие новости?

– Ты где? Степан Анатольевич велел тебя разыскать и доставить. Едем на охоту.

– Я не охотник, спасибо, и дел много.

– Знаю про твои дела, на охоте и поговоришь с шефом. И еще – ты ж понимаешь, если я тебя не привезу, он меня уволит. Пожалей меня, Иван Сергеевич.

– Никак нельзя отговориться? Скажи, что телефон выключен.

– Сергеич, ты же в курсе, у нас как в армии – все будут: фээсбэшник, полковник милиции, генерал вертолетный, мэр. Уважь шефа.

– Приезжай к Крепости, черт с тобой.

– Ты там стой только, стой у ворот. Я мигом. – Николай отключился.

Значит, весь Деревск уже осведомлен. Впрочем, город-то – тридцать тысяч человек, новость разносится как искра, а тут – Мальцова уволили. Может, и хорошо, что так вышло, ехать, пожалуй, было надо.

Началось всё с раскопа. Степан Анатольевич Бортников – генеральный директор завода «Стройтехника», великий бизнесмен и теневой глава города, реставрировал, а точнее, возводил заново набережную с дореволюционной гостиницей, пристраивая к старой линии домов четыре коттеджа – себе и своим топ-менеджерам. Размахнулся широко – не умел узко. Мальцов тогда заложил раскоп под фундамент одного из его гостевых дворцов, попадавшего на участок с культурным слоем. Условие было – сделать за лето. Шампанское на материке пили в начале ноября. Всё кругом было усыпано пушистым снегом, словно археологические ангелы постарались застелить грязную яму белоснежной скатертью перед долгожданной пьянкой, означавшей конец мучениям всей группы. Как они выстояли, было им самим не очень понятно, но выстояли же. После на скорую руку Мальцов устроил в музее выставку находок, их было много, особо ценные – три берестяные грамоты – лежали в центре витрины под специальными стеклами. Бортников пришел на выставку, привез с собой ящик сухого вина, выслушал доклад Мальцова, принял благодарность от директора и археологов. Затем отвел Мальцова в сторонку.

– Я ж не дурак, Иван Сергеевич, всё вижу. Ты, значит, под снегом пахал, а Маничкин джип купил на мои деньги. Сперва подумал, распи́лите пополам и копать не станете – выпишете мне справку. Теперь так: ты ко мне заходи, всегда помогу, а директору твоему цена копейка, я с ним дел больше не имею.

С тех пор и правда помогал: то даст денег на лопаты, то на мальцовское пятидесятилетие подарил письменный стол и кресло. Сам, конечно, не пришел, прислал Николая с подарком.

Степан Анатольевич появился в городе лет двадцать пять назад. Пришел на завод инженером, быстро дорос до директорского кресла, в нужный момент приватизировал предприятие и развернулся так, что стал в области первым налогоплательщиком. Невысокого роста, широкий в плечах, Бортников, по слухам, каждый день занимался на тренажерах. Гостей любил и поил от души, но себе наливал в рюмку целебный нарзан. На заводе, говорят, орал на подчиненных почем зря, самодурствовал, как рассказывали уволенные. Те же, кто работал, на директора молились – даже в девяностые заводские трубы коптили небо, а бухгалтерия исправно выплачивала зарплату трем тысячам сотрудников. Империя его постоянно разрасталась, побочных бизнесов у Бортникова было много, сам он хвастал, что не все их может упомнить. Но явно лукавил, всё держал в кулаке, крепко и жестко, как умелый жокей, раз за разом приводящий лошадь первой к финишу, и, богатея на глазах, не жадничал, подкидывал нищему коммунальному хозяйству – то на три километра асфальта, конечно, на подъезд к его заводу, то на закупку компьютеров для школ, то на дорогие немецкие аппараты для УЗИ в горбольницу. Всегда про-

верял, как распорядились его деньгами, на то был поставлен Николай. А вот с Маничкиным вышла промашка, что Бортникова и разозлило.

Если Бортников устраивал праздник или охоту, не явиться к нему значило нажить страшного врага. Генеральный был мстителен, хотя и умело это скрывал. Николай, его «помощник», а по-старому денщик, был далеко не пентюх, и, если намекнул на разговор с шефом, значит, такой разговор планировался.

Когда Мальцов подошел к пролому, «тойота» Николая уже ждала его.

– Иван Сергеичу привет, – Николай протянул пятерню.

– Здорово! Надо бы домой заехать, не по-охотницки одет.

– Это ерунда, оденем тебя, доставим домой – всё в лучшем виде, шеф сам тебя повезет.

Мигом домчали до бортниковского особняка. Директор уже сидел за рулем. Мальцов пересел к нему, и они тронулись.

5

Черный «гелендеваген» выбрался из города и рванул по шоссе. В двадцати километрах, в селении Дорниково, сохранился единственный на весь район неубыточный колхоз «Светлый путь». Николай Афанасьевич Быстров – старый, еще советской закалки директор, умудрился не только не развалить хозяйство, но даже его укрепить. Трактора в «Светлом пути» были новенькие или выглядели таковыми, парк машин не разворовали, кузница работала, зернохранилища набивали доверху. Но главное – стадо. Бортников, помогавший старому директору, выписал из Франции породистых быков мясной породы и удоистых особенных коров, свиней, достигавших рекордных размеров, и настоящих холмогорских овец из столичного института животноводства. В городе у «Светлого пути» был свой магазин, торговавший мясом и молоком, сметаной и маслом, народ из колхоза если и бежал понемногу, то не валом, как из других деревень. В колхоз даже приезжали молодые специалисты – ветеринары, агрономы, инженеры, Быстров где-то находил их и сманивал к себе. Поселял в трехэтажки еще советской постройки, делал в квартирах за счет колхоза ремонт: страшного вида потолки зашивались пластиковыми блестящими квадратами, на стены клеили обои с пышными геральдическими лилиями, деревянные переплеты заменяли на двухслойные пластиковые. Новоселам Быстров платил небольшую, но не нищенскую зарплату.

– Вот, можно ведь и с сельского хозяйства кормиться, – Бортников с гордостью показал на аккуратные рули с сеном, запаянные в пленку.

Машина свернула с шоссе и мчалась по длиннющей липовой аллее к центральной усадьбе колхоза.

– Мы Быстрову помогаем, а он учится понемногу и сам в долгу не остается. Увидишь, какой мы тут заказник сооружаем.

Главной чертой Бортникова было постоянное бахвальство. Так он взбадривал себя, держал в тонусе.

– Строю в лесу поселок – десять домов. Захочешь, например, ты книгу писать, приедешь, поселишься на месяц. Чем не курорт, белые под окошком растут!

– Поселок на продажу?

– Земля выкуплена – сорок гектаров угодий, лес, пруд отроем настоящий, сейчас пока маленький есть, но уже с карпами. Только продавать не буду. Продать всегда успеется. Теперь, когда Маничкин уволил, что делать думаешь?

– Честно? Не знаю. Буду книгу писать. А Деревск я так просто этому ублюдку не отдам.

– А вот это ты зря. Не с того конца заходишь. Я вот что думаю. Давай, Иван Сергеевич, замутим историю, создадим общество любителей нашего города. Сам подумай: город древний, стоит на трассе, надо его восстанавливать, на старину теперь спрос. Маничкин нос по ветру держит, у него в Москве крепкие зацепки. С ним сосуществовать надо, но и своего не упускать, так будет вернее. Денег всем хватит. Вот Быстров – колхоз не сдал, с областными чиновниками в хороших отношениях, ни с кем никогда не воевал, всё потихонечку, но продуманно.

– При чем тут Быстров? Он один на всю область, потому ему и помогают, он у них для галочки. Город – совсем другое дело. Строить в центре нельзя, надо реставрировать, а значит, сначала изучать. Вряд ли это окупится. Впрочем, я в бизнесе ничего не смыслю.

– Опять не с той стороны. Ты строй и изучай, только смету не раздувай, как твой директор. Тогда деньги заработают.

– Помните раскоп? Ведь до белых мух копали. Нельзя так – это сталинские какие-то методы, вредные. Наука спешки не терпит.

– Помню хорошо. Но вы же не отказались, взялись копать? Денег дал – бегом прибежали. И выставку отличную сделали, и грамоты берестяные нашли, опять же слава! Вот я и предлагаю: ты будешь копать, мы – строить.

– Что строить собрались, Степан Анатольевич?

– Это посмотрим. Есть люди в Москве, крупные очень люди, хотят центр с путевым дворцом себе оттягать, на Верхнем городище поставить деревянную крепость с башнями, а в ней – туристический центр. Нужен он городу? Нужен! Вот и привлекай людей в наше общество, считай, мы его уже создали, будем строить!

Бортников всегда напускал туману, махал руками, улыбался, недоговаривал и тихой сапой гнул свою линию. Всё сводил к деньгам, сметам, жил этим и по-своему был прав. Приучить его к тому, что у науки есть свои интересы, стоило годов совместной работы. Только кара за несанкционированное строительство свела их вместе: если бы не запреты Росохранкультуры, Мальцов был бы Бортникову не нужен.

– Так что строить конкретно? Если дворец реставрировать, это правильно, он давно разрушается. Если крепость на городище – я вас в тюрьму посажу, зуб даю. Крепость у нас уже есть, и уникальная, а Верхнее городище – городской посад семнадцатого – восемнадцатого веков, когда-нибудь и его археологи возьмутся изучать. Городок для туристов! До такого даже Маничкин, гад, не додумался. Нельзя там ничего трогать! Места пустого – море, ставьте туркомплексы, гостиницы на окраинах, где культурного слоя нет, в конце концов, устраивайте гостиницы в старых домах на набережной. Можно и на высоком берегу, и у речки, только скажите – место я подберу. Может, и на Крепость глаз положите? Вполне голливудская затея!

– Не кипятись, Иван Сергеевич, я не даром время трачу. Мне и тебе помочь охота, и чтоб общая польза была. Крепость, кстати, простаивает – факт, далековато только от центра. А история твоя – мы сами ее строим. По кирпичику! Этими вот руками!

Бортников оторвал руки от руля, помахал ими перед мальцовским носом. Благостной улыбки, с которой начинал разговор, не было теперь и в помине.

– Так дело не пойдет, – вскипел Мальцов. – Давайте по порядку: что, где, когда? Мне ваши деньги по барабану. Никак вы, Степан Анатольевич, не усвоите: я не по этой части.

– Ладно, Иван Сергеевич, усек, – Бортников тут же сменил тон. – Жаль, что ты не хочешь понять, но придется, мир изменился, назад пути нет. Ты верно сказал, что «Светлый путь» только на Быстрове и держится, умрет дед – всё, пожалуй, растащат. И людям он платит самый, так сказать, прожиточный минимум, а трактора – новые. Скопидом дед, за что уважаю и поддерживаю. Интересно смотреть, как у него получается. Людям много не надо, они – кирпичи, из них всё лепится.

Мальцов закусил губу, смолчал.

– Дед мой на войне сгинул, вымостили им дорогу к победе, батька на заводе от звонка до звонка всю жизнь пахал. Я – другой. Строить куда интересней, так?

– Так, Степан Анатольевич. Моим дедом и батькой тоже дорогу мостили, но недомостили – чудом уцелели. Знаете, кстати, какое соотношение погибших было тут у нас, на линии фронта? На одного фрица – тридцать – сорок наших! И это вы называете умением воевать? Здесь человека всегда, как на турецкой перестрелке, берегли.

– Один к тридцати, говоришь?

Бортников на минуту замолк. Потом заговорил снова уже спокойно.

– Мое дело сказать. Я тебя ломать и не думаю. Сейчас приедем, там будет Маничкин, я его позвал, может, удастся вас замирить. Не кипятись, не кипятись, выдержи, лично прошу.

– Не стану я с ним мириться, – буркнул Мальцов.

– Вдруг он станет? Жизнь – штука непредсказуемая. Не лезь на рожон, а от охоты не отказывайся.

Мальцов не ответил. Замолчал и Бортников, но лишь на минуту, сегодня его распирало. Они давно проехали Дорниково – скучное, построенное рядами поселение, миновали лесок, луга и въехали в деревеньку Ратмирово с большим прудом посередине, с не растащенными на стройматериал животноводческими постройками.

– Тут мы с Быстровым напополам: коровы его – по лесу ходят, значит, грибы растут и округа обкошена, а вот свиньи – мои. Сто пятьдесят голов! Захочешь ты мяса, к примеру, а вот оно! – В подтверждение своих слов Бортников указал на длинный свинарник.

Около дверей прямо на земле два мужика палили паяльной лампой бока огромного хряка.

– Специально тетку из заводской столовой выучил, вертит колбасу, как мама делала, – пальчики оближешь. У меня московские едят – умоляют продать хоть килограммчик, а я задарма даю. Чистым зерном кормим, мясо мне дороже в полтора раза встает, чем на рынке, зато свое и чистое!

Как-то давно, в запале, Бортников бросил Мальцову по телефону, что встретиться сейчас не может: летит на Каймановы острова – отдохнуть и открыть счет. Тогда надо было выглядеть современным бизнесменом. Теперь он бахвалился своей деревней, как заправский помещик. Этой стороны жизни директора «Стройтехники» Мальцов еще не знал. Генерал Троекуров, подумал Мальцов, хлебосольный, взбалмошный и властный, готовый на потеху цепным медведем мелкого гостя потравить, упивающийся жизнью, где всё ладно устроено, отмерено и взвешено, надо только решить небольшие проблемы, и жизнь станет райской. Но не походил Бортников на старосветского помещика, да и не был им. Что-то он затевал серьезное, иначе не пригласил бы на барскую охоту.

Подъехали к охотничьему дому. Вся обочина была уставлена джипами, гости их уже поджидали.

6

Были действительно все: милицейский полковник Руслан – тихий скромный осетин, севший в уголочке и за всё застолье не сказавший ни слова. Фээсбэшный подполковник Арсентий – худой, подозрительный и мрачный; этот постоянно щурил глаза, сверля ими собеседника. Он тоже больше слушал и ржал мелким дурным смехом над рассказанными анекдотами. Прокурор города Земский и друг его Маничкин оккупировали дальний угол стола напротив Руслана. Они выбрали другую тактику: всё время балагурили, тянули разговор на себя. Маничкин бросил кинжальный взгляд на Мальцова, отвернулся к другану и больше за весь вечер на Мальцова не взглянул. Были еще и московские: Сергей, представитель «Стройтехники» в столице, хладнокровный и рассудительный, приятно и без подобострастия улыбающийся каждому, и трое москвичей, вовсе неприметных и бессловесных. Приехал и городской глава, импульсивный и незлой человек из отставных военных, поставленный на должность Бортниковым. Он присел рядом с генерал-майором, начальником летного полигона, своим бывшим замполитом, говорил мало, зато пил рюмку за рюмкой, как заведено у высшего комсостава. Был еще один, Пал Палыч, московский думец, выросший из заместителей прежнего губернатора в столичного вельможу. В области Пал Палыч был притчей во языцех. В бытность замом губернатора ему принадлежало шестьдесят процентов добываемого леса, о чем знали даже мужики-лесорубы, – доли же в иных предприятиях, кормившие хорошо и сейчас, оставались тайной. Заместитель умело обскакал бывшего шефа, вовремя сдал, когда тот лоханулся и чуть не провалил выборы «Единой России». Шеф удрал, числился теперь в бегах и под следствием за растрату казенных средств, а Пал Палыч взлетел шибко выше и спланировал прямо в Государственную Думу, где теперь лоббировал интересы области. Все ему льстили, особенно старался зам генерального Николай. Сам Бортников к Пал Палычу обращался с почтением, но на «ты», считая, вероятно, что особое внимание помощника автоматически должно указывать и на любовь его хозяина. Мальцов впервые оказался на таком приеме и с интересом наблюдал заведенный здесь этикет. Пал Палыч сидел по правую руку от хозяина, Мальцова посадили почему-то по левую.

Две девушки в чепчиках и фартучках, официантки из бортниковского ресторана при гостинице, обносили огненным, очень вкусным украинским борщом.

Заговорили о Путине. Пал Палыч ругал областных чиновников: прошляпили, не пронюхали о неожиданном визите Владимира Владимировича в старинную церковь, что стояла на границе с Москвой, но на земле области. То, что на литургию не пригласили губернатора, было, по его мнению, плохим знаком.

– Не случайно, не случайно, срока не досидит…

Собравшиеся слушали молча: думец мог позволить себе высказать то, что им не полагалось.

– Райские Кущи продали Величко, а братьям Миньчукам отказали. Братья к самому близко, такое не прощается. Ошибочка вышла, и большая, скажу вам. А братья на город глаз положили.

Пал Палыч поднял палец, словно оракул, повертел им в воздухе, опустил к столу и артистично подцепил рюмку.

– Давайте за хозяина, за его удачу, за охоту. Степан Анатольевич, за тебя!

Все похватали рюмки. Мальцов отметил: до дна пили немногие. Сам он хлопнул целиком: подумал, вдруг захмелеет и его освободят от охоты. Маничкин с прокурором, кстати, на водку налегали без стеснения.

После первой выпили за Пал Палыча – дорогого земляка, за «наш любимый город». После третьей застолье пошло уже своим чередом, каждый ел и пил сколько пожелает. Разговор дробился, общались больше с соседями. Мальцов жевал знаменитую «мамину колбасу»,

мама дело знала отменно. Когда Николай вдруг попросил его произнести тост, он дипломатично произнес:

– За колбасу! А значит, и за маму Степана Анатольевича, что передала ему свое умение.

После этого про Мальцова на время, к счастью, забыли. Только Пал Палыч взглянул на него оценивающе – так оценивают новый штакетник или наплодившихся поросят.

После борща внесли шашлыки из свинины, каждому по длинному титановому шампуру с резной деревянной ручкой, похожему на церемониальную шпагу. Потом желающие пили чай и кофе с тортом и еще горячими ватрушками. За столом не курили. Постепенно публика перетекла на улицу – там тоже стоял столик с водкой, виски, коньяками и закусками на любой вкус. Всё у Бортникова было как в лучших домах. Пал Палыч достал старый серебряный портсигар с несущимся на всех парах паровозом на крышке, поднялся из-за стола и вдруг кивнул Мальцову так, словно они знакомы сто лет:

– Пойдем покурим.

На крылечке шепнул заговорщицки:

– Райские Кущи, на твой взгляд, сколько стоят?

Это имение восемнадцатого столетия было построено великим Барсовым для отставного павловского генерала. Паркетный вояка в недолгое правление курносого императора сумел сколотить бешеное состояние, построил дом с круговой колоннадой, а в центре, назло отправившему его в отставку Александру Первому, поставил фигуру удушенного подушкой императора-отца. В советские времена имение пережило с десяток незавершенных реставраций: прорабы воровали так рьяно, что работа вставала. Прорабов увольняли, строительные леса вокруг памятника прогнивали. Новый этап всегда начинался с разборки и установки новых лесов, затем всё повторялось заново, растрату списывали на очередного прораба, а дело с мертвой точки так и не сдвигалось. Последние леса вокруг главного дома простояли более десяти лет и покрылись грибком, ходить по ним стало смертельно опасно.

– Странный вопрос. Насколько я знаю, этот памятник культуры отдан в аренду на шестьдесят девять лет.

– Ну да. Лет через пять, уверен, Величко найдет способ перевести его в собственность.

– Разорится на реставрации ваш Величко. Дом построен на плывуне, с одним фундаментом сколько раз мудровали, а угол как отваливался, так и отваливается.

– Разорится, говоришь? Это вряд ли. А что про путевой дворец скажешь?

– Интерьеры сохранились плохо, надо искать остатки, работы специальные не велись, насколько я знаю. Само здание несуразное: комнаты анфиладой, если делать гостиницу, много людей не поселишь, лучше губернаторский дом отстроить, там хоть остов крепкий.

– Интерьеры искать? – Пал Палыч затянулся и потерял к Мальцову всяческий интерес. Отошел на шаг, нарочито взял под локоть прокурора, закусывавшего малосольным огурчиком, прокомментировал:

– Гриб и огурец – в жопе не жилец! Сальцем закуси.

Прокурор заржал и тут же парировал вельможную шутку – рассказал сальный анекдот про огурец и монашку.

Так хамски с Мальцовым еще не разговаривали никогда. Он пошел к столу, но по пути столкнулся с вездесущим Николаем.

– Иван Сергеевич, скорей одевайтесь, егерь всё подскажет. На охоту, на охоту пора!

В одной из спальных комнаток с двухэтажными нарами облачались Сергей и один из неприметных москвичей, милиционер Руслан и летный генерал. Здоровенный егерь со зловещим лицом, не иначе бывший спецназовец, принялся напяливать на Мальцова теплый комбинезон. Затем подал сапоги с шерстяными носками, навесил на пояс портупею с двумя рожками и выдал вязаную шапочку с прорезями для глаз.

– Банк пойдем грабить, – сострил Мальцов, скрывая смущение.

– Никак нет, Иван Сергеевич, кабанов лупить! – Генерал подмигнул ему по-свойски. – Печеночку-то, небось, любишь?

Мальцов в жизни не пробовал кабаньей печени.

Егерь выдал ему карабин с оптическим прицелом.

– СКС, классика, десять патронов в обойме, сняли с предохранителя, – продемонстрировал на незаряженном оружии, – оттянули затвор, готово к бою. Карабин полуавтоматический, передергивать затвор вторично не требуется. Оптика отечественная – «Пилад», крест – простая и надежная. Вопросы есть?

Егерь вставил обойму в магазин, поставил карабин на предохранитель, протянул Мальцову.

Последний раз Мальцов стрелял на сборах черт знает сколько лет назад. Заслужил тогда оценку «отлично»: стрелял кучно и метко – из «калаша» и СВД, его даже отметили в приказе по сборам.

Егерь подтолкнул Мальцова на выход. У дома дожидались уазик-буханка для охотников и «Нива» с егерями. Степан Анатольевич сидел на командирском кресле рядом с водителем, в ногах стояла короткая винтовка с богатой золотой гравировкой.

– «Голанд-голанд»? – спросил Мальцов с иронией.

– «Зауэр-303», корневой орех, спецзаказ. Пал Палыч подарил.

Из дома вышел Сергей, он тоже нес навороченную иностранную винтовку. У остальных – генерала, милиционера и москвичей, у прокурора и Маничкина, которых быстро снарядили вслед Мальцову, – были отечественные карабины, как и у него. Гостевые, догадался Мальцов.

Пал Палыч сел в «кадиллак» и отбыл в столицу. Уазик тронулся. За ним отъехала «Нива» с егерями. Оставшиеся помахали охотникам на прощание и ушли в дом.

– Теперь выпьют в удовольствие, безнадзорно, так сказать, – прокомментировал генерал.

– Маток не стреляйте, бейте молоденьких сеголеток, – отдал последний приказ Степан Анатольевич, – а выйдет секач – постарайтесь отличиться.

Въехали в лес. Мальцов всё думал о словах «великого и ужасного» Пал Палыча; стрелять не хотел и молился в душе, чтобы зверь не вышел из леса.

Первым ссадили одного из москвичей, из «Нивы» вылез один из егерей, повел того на засидку. Следом настал черед Мальцова.

Здоровенный егерь, объяснявший ему принцип работы СКС, повел его к поляне. На плече у него висел стандартный карабин, у пояса широкий нож в ножнах, на шапочке – прибор ночного видения. Поймав заинтересованный взгляд Мальцова, егерь пояснил:

– Вам и оптики хватит, ночи светлые, а нам полагается. Отстреляетесь, звоните, – подал визитку с номером мобильного. – Телефон, конечно, сейчас выключите. Залезайте, располагайтесь, зверь выйдет.

Перед большой поляной у кромки леса стояло сооружение, похожее на избушку Бабы-яги. Высокий сруб с упрятанной внутри лестницей, на втором этаже крепкий пол, удобное деревянное кресло и бойница с обшитым старым матрасом подоконником, чтобы приклад не шумел. Мальцов сел в кресло, отключил телефон, отставил карабин и вперился в поляну. Метрах в ста посередине пустого пространства торчала одинокая кормушка – деревянное корыто, покрытое от дождя добротным навесом. Засидки Бортников строил генеральские – деревенские ходили на кабана с лестницей: прислоняли ее к елке на краю засеянного поля, садились на верхнюю ступеньку и, замерев, как куры ночью на нашести, караулили зверя.

7

Он устроился поудобнее. Положил карабин на мягкий подоконник, оглядел опушку леса: просветленная оптика позволяла изучить каждое деревце, каждую группу кустов. Затем тщательно осмотрел землю, искал примятую на выходах траву. Выходов оказалось два – около большой березы справа и в прогале между зарослями олешника слева. Кабаны ходили часто: невысокая отава была утоптана до самой кормушки. Затем направил прицел вдаль. Поляна походила на широкую просеку – наверняка раньше тут было колхозное поле. Бортников просто приспособил его под нужды охоты, не дал зарасти: в конце июня егеря косили траву, создавая нужную полосу метров в триста шириной. Справа, там, где поле начинало скатываться под уклон, виднелась крыша еще одной кормушки. В линии деревьев напротив нее он разглядел засидку попроще – простую платформу с перильцами, сколоченную прямо на мощных ветвях березы, и черную точку – притаившегося охотника.

Скоро стена леса слилась в единое пятно, солнце уже зашло, стремительно наползала темень. Мальцов развалился в кресле, наблюдал, как засыпает природа. На небе начали загораться звезды. Сбоку из-за леса выползло ночное светило, косой серебряный свет растянул тени, облил неровности на поляне. В древние времена люди поклонялись луне: свет ее пугал и притягивал их одновременно.

Луна поднималась быстро. Он слушал ночь, затаившись в скрадке, как птица в ветвях дерева. Кормушка-ориентир, ни звука кругом, серая мгла и изрезанная угловатая полоска деревьев на фоне звездного неба. Бесшумная тень упала с высоты, спикировала на конек кровли над корытом. Сова. Расположилась на командной высоте, обозревала луг, но вдруг сорвалась и растворилась в черноте. Часы показывали половину десятого. Еще с полчаса он настороженно вслушивался, уловил один раз далекий хруст, но не сменил позы. Сидел, скрестив ноги, в самом центре отрезанного от мира заповедного пространства и смотрел, как по краям его прочерчивается нервная линия: верхушки деревьев на фоне неба строгой стеной опоясали этот рукотворный уголок дикой лесной пустыни, скроенный для мимолетного кровавого развлечения. Где-то далеко ухнул филин. Эхо недолго покатало сиплый голос, но ночь быстро съела и его. С безжизненного поля потянуло холодной росой. Где-то справа сухо хлопнул выстрел. Началось! Мальцов поднял воротник комбинезона, долго вглядывался в темноту, глаза стали наливаться свинцом. Кругом стояла тишина. И тут он услышал визг молодняка. Свиньи давно выжидали, стояли в темноте у березы, как колхозницы, поджидающие автолавку, и вот – вывалили сразу все, причем первыми вышли две матки: прогнутые спины, отвисшие животы, за ними – темные сгустки кипящей энергии – поросята.

Свиньи замерли перед последним рывком. Мальцов наклонился к бойнице, передернул затвор, сон как рукой сняло. Он не уловил сигнала – малышня-сеголетки, черные, казавшиеся издалека хохлатыми, уже мчались галопом по тропе. Они рвали наперегонки, более крепкие и крупные оттирали слабых. Свиньи всё так же стояли у кромки, стерегли стадо. Молодежь начала тыкаться рыльцами в чистое зерно, повизгивая и хрюкая от нетерпения. Сеголетки были слишком возбуждены, вертелись, расталкивали друг друга. Ловя на перекрестье их силуэты, Мальцов вдруг понял, что не принадлежит себе; примагниченный к крестику в окуляре, он решился стрелять, адреналин бушевал в крови, адских сил стоило наладить дыхание, а потому отложил карабин, лишив себя соблазна необдуманного выстрела. Свиньи наконец успокоились и потрусили к корыту, бесцеремонно раскидали деток, закопались в корм с головой.

Наевшись, поросята принялись носиться по поляне, описывая круги вокруг кормушки, подлетая иной раз к угощению уже из чистого озорства. Это и был его шанс. Некоторые проносились близко от засидки, так что трава шуршала и свистела, но стрелять по движущейся мишени Мальцов не умел. Он выжидал.

И тут всё изменилось. Поросята как один дернули было к лесу, затем замерли, подняв уши-локаторы. От их тел валил пар. Прямо из-под домика, где сидел Мальцов, появился секач. Зверь деловито пересек поле широким хищным шагом. Спеша к дармовой еде, он грубо оттолкнул зазевавшуюся свинью, и та, хрюкнув, отлетела в сторону, словно слепленная из папье-маше новогодняя игрушка. Вторая свинья покинула корыто заблаговременно. Сеголетки уже сбились в стадо: от голодного папаши можно было ожидать любой пакости. Кабан жрал молча, зарываясь в корыто по плечи, и вскоре поросята снова принялись играть. Некоторые, понастырней, даже подскакивали к кормушке, хватали крохи и уносились прочь от недоброго взгляда борова. Свиньи так глупо не рисковали – стояли поодаль, пока господин набивал утробу. Наконец он наелся и отошел в сторону.

Мальцов внимательно следил за ним; от напряжения заломило в висках, глаз зачесался, жилка на шее, пульсируя, отбивала удары, мерно отдававшиеся в голове. Он что есть силы втянул носом воздух, выпуская его через рот мелкими порциями, чтобы полностью освободить легкие перед новым вдохом. Йоговское упражнение успокоило. Красный крест в прицеле накрывал то горбатую спину, то зад, но самец не подставлял корпус. Вдруг кабана что-то насторожило, он резко развернулся и начал принюхиваться, уши на голове встали торчком. Черный, налитый силой силуэт, похожий на нацеленную торпеду, был виден теперь отчетливо, Мальцов рассмотрел вздувшиеся желваки челюстей, белый клык, выпирающий из нижней губы, блестящий пятачок носа, мелкий, запрятанный в кудлатую, чуть подрагивающую шерсть глаз аспида, в котором сверкнул и погас холодный лунный блик. Навел перекрестье на точку под лопаткой. Задержал дыханье и, как учили, плавно, словно бесшумно загребая веслом, потянул курок. Карабин дохнул, раздался чавкающий удар пули по корпусу, вепрь сделал неуверенный шаг в сторону. По его телу волной прошла крупная дрожь, он сдавленно хрюкнул, выдохнув боль. Ноги животного подогнулись, кабан упал на колени, словно земля под ним как по волшебству внезапно вспучилась. Предательская твердь не держала его больше, он как-то по-стариковски охнул и завалился на бок. Задние копыта несколько ударили воздух, туша разом приняла беззащитное утробное положение, судорога вжала ноги в брюхо. Кабан дернулся и затих, превратился в темный ком на фоне пустого поля. Мальцов не заметил, как убежало стадо, он следил только за добычей, лоб покрылся испариной, руки вцепились в карабин. Выждав несколько мгновений, наконец сморгнул слезу. Он стрелял метров с семидесяти, наверняка, но не ожидал, что на такого мощного зверя хватит одной пули. Кабан зарылся рылом в траву, ухо висело тряпкой. Горячая волна радости ударила в голову, Мальцов закричал в голос:

– Ага! Вепря убил! Одной пулей, мать ети!

Черный ком на поле не исчезал. И тут тишину вспорол рев мотора с лесной дороги. Машина затормозила напротив засидки, кто-то уже ломился к домику сквозь лес, мотор снова взревел, две полосы света черканули по еловым веткам, и машина исчезла в ночи.

Егерь возник как черт из табакерки, вынырнул из люка, светя прямо в лицо налобным фонарем, – тот здоровенный, похожий на спецназовца.

– Стреляли? – выпалил, задыхаясь.

– Стрелял, – сказал Мальцов, отводя взгляд от бьющего по глазам фонаря. – Вон лежит. Секач! Как вы узнали?

– Сколько раз стреляли?

– Один! С одной пули, не поверишь.

Егерь посмотрел на поле, луч скользнул по поваленной туше, скакнул выше и судорожно заметался в лесной чаще, напротив.

– Секач? Здесь часто выходит. Ладно, сдавайте карабин и подсумок, пожалуйста, – добавил уже мягче.

– Да что происходит? – взревел Мальцов. – Вон, лежит на поле, смотри, с одной пули!

– Маничкина подстрелили, а он справа от тебя сидел. Понимаешь?

Егерь цедил слова сквозь зубы, словно хватил ледяной воды из ключа, а конец фразы, беря на испуг, прошипел и вовсе по-змеиному, вынул обойму и принялся считать оставшиеся патроны.

– Как подстрелили? Насмерть? Кто подстрелил?

– Выясним. У вас все, кроме одной. Так и запишем. Сам позвонил минут с десять назад, сказал, подранили его. Ребята поехали. Точно не палили в ту сторону?

– Сдурел? Свиней распугать? Сам видишь: одной не хватает! А выстрел справа я слышал, одиночный, но далеко стреляли. Нет, пошли, пошли на поле, не веришь, сам убедишься, там секач лежит.

– Ага. Пошли.

Егерь ввинтился в люк. Мальцов полез за ним, ноги дрожали, спускаться по лестнице стоило большого труда. Вдруг вепрь ему только померещился и сейчас начнется дознание? А он-то уже предвкушал триумф. Черт знает что сейчас начнется. Злость ударила в голову. Он шел по полю, с каждым шагом ставя ноги всё увереннее, шел точно на свет фонаря.

– Правда ваша, с одной, прямо в сердце! Везет, дядя, ты уж прости. И патроны не стреляны, хер кто подкопается теперь, ведь на вас сперва подумали.

Егерь светил фонарем на тушу.

– С победой! Знатный трофей, килограмм под двести, знаем этого секача. Степан Анатольевич будет доволен.

Он уже улыбался во весь рот и тянул Мальцову руку. Мальцов машинально пожал ее.

– Как там Маничкин? Позвони своим.

– Щас выясним.

Громила-егерь достал из-за пазухи рацию.

– Первый, как у вас? Тут ученый вепря завалил. С одной пули. Даже не рыпнулся, как стоял, так и упал. Чисто снайпер! Патроны? Недокомплект один патрон – смотрите с другой стороны. Отсюда стреляли? Не знаю, не знаю. Ученый вроде слышал одиночный справа. Как пострадавший? Повезли? Давай, потом высылай трактор и нас заберешь. Можно курить, садитесь, – сказал он Мальцову. – Не самое худшее, кость, похоже, не задета, артерия точно нет, сквозное, кровь уже остановили, вроде в бедро его. Стреляли с вашей стороны. Там не домик – помост, он поднялся, его и сняли! Одной пулей…

– Ты знаешь чего, кончай намекать! – разорался Мальцов. – Смотри, патроны не потеряй, отдай лучше мне.

– Не волнуйтесь, не положено. Разберутся кому следует, а с вас причитается, чисто отстрелялись, так у нас только Бортников стреляет.

Мальцов опустился на землю около туши, трава была холодная и мокрая от росы. Волосы на голове стали колкими и чужими, расступились в разные стороны, испуганно пропуская пробегавшие по их лабиринту трескучие разряды. Голова отчаянно зачесалась, затылок онемел, хотелось ущипнуть себя, разогнать застывшую кровь. Он с трудом поборол это желание. Туша рядом пахла тяжело, душно, забивая чистый запах ночной прохлады. Так и просидел до приезда трактора. Пока закидывали на навеску тушу, чекерили ее тросом, не стронулся с места. Потом встал, повернулся к фарам спиной. Струя не дрожала, но во рту поселился едкий железный привкус, какой появляется, когда пробуешь кончиком языка батарейку, проверяя ее на пригодность. Мальцов глядел на егерей исподлобья, как секач на сеголеток у кормушки.

– «Нива» пришла, пойдемте. – Егерь осветил ему путь.

Мальцов выпрямился во весь рост и жестко, упрямо расправив плечи, не оборачиваясь, пошел с поля прочь.

8

Охотников уже доставили в дом. Пиршество продолжалось, оставшиеся были здорово навеселе. Степан Анатольевич снова восседал во главе стола, пил нарзан, перед ним дымилась тарелка с гуляшом и макаронами, к которой он даже не притронулся.

– Иван Сергеевич, дорогой, поздравляю, вот не ожидал! – слишком бодро поприветствовал он Мальцова. – С одной, значит, пули? Молодец!

– Как Маничкин? Что произошло?

– Охота! Шальная пуля нашла… Бывает, только у меня такое в первый раз. Вроде всё рассчитано, скрадки разнесены далеко. Главного егеря придется теперь уволить, его недогляд, жаль – отличный специалист. А был бы кто из Москвы? Люди ко мне серьезные ездят!

– При чем тут главный егерь? – вмешался прокурор. – Саню не шальная пуля накрыла.

– Игорь, ты говори-говори, да не заговаривайся, тут пока киллеров не замечено. – Бортников навалился на стол, кожа на сухих скулах налилась кровью. – И не думай дело заводить, сами всё раскопаем, если что. Но что может быть? Компания спетая, все друзья, так? – Он обвел застолье вопрошающим взглядом и продолжил рассуждать вслух: – Вот Иван Сергеевич, вроде к Сане в претензии и рядом сидел, так патроны все целы, кроме одного. А стреляный – в секаче! Егерь свидетель. Недоразумение какое-то. У Маничкина пустяк рана, навылет, и слава богу, могло б и как секача… – Он хохотнул. – В ЦРБ им уже доктор Вдовин занимается, всё будет в ажуре, похромает месячишко, а мы ему, как в строй встанет, путевочку на Кипр подарим и премию выпишем. Так, Арсентий Евгеньевич? – обратился он вдруг к сильно поддавшему фээсбэшнику. – Ты ж ездил на Кипр, хорошо там?

Бортников открыто настраивал застолье, подавая происшествие как несерьезное, иначе могло б выйти некрасиво, очень даже. Но все, от кого зависело, замять дело или раздуть, сидели за столом. И все – и Руслан, и Арсентий в первую очередь – усердно закивали головами.

– Аль-Каида в наших лесах за неделю сдохнет, – фээсбэшник хохотнул. – А на Кипре хорошо, Степан Анатольевич, мне лично понравилось.

– Значит, еще раз поедешь. Ты как думаешь, Игорь? – Бортников медленно повернулся к прокурору и взглянул ему прямо в глаза. – Впрочем, мы с тобой еще покалякаем, идет?

– Шальная – значит шальная, Степан Анатольевич…

– Ну и отлично! Надо, братцы, выпить за трофей, вон Наташа уже печеночку пожарила. Полагается по охотницкому обычаю, ешьте на здоровье, чистая, клещей нет. Да откуда б им взяться, свиньи, можно сказать, домашние, только на выпас отправлены по лесам. Ну, значит, за Иван Сергеича! Не знал, не знал, что так стреляешь. Где служил?

– На сборах служил, правда, стрелял тогда хорошо.

– Выходит, не растерял навык. Теперь сделаем тебя председателем общества любителей нашего города, заслужил! За председателя! Или хочешь охотколлективом руководить?

Все потянулись к Мальцову с рюмками. Он выпил, чтоб унять предательское колотье в боку, но больше не стал, надо было держать себя в форме. История эта пахла отвратительно. Он в который уже раз поблагодарил Бога, что не послал вдогон рухнувшему вепрю вторую пулю.

Ел кабанью печенку машинально, почти не ощущая вкуса. Ловко настроив застолье, Бортников перевел разговор на нужды города. Мэр клюнул, принялся сетовать на отсутствие средств. Бортников немедленно пообещал дать три миллиона. Пока мэр продолжал тянуть привычную жалобу, Бортников вышел. Вскоре стол покинул и прокурор. Минут через десять они вернулись плечо к плечу, довольные, сияющие.

– Ну, господа, с охотой! И по последней на посошок, пора и восвояси. Ты, Иван Сергеевич, со мной, как прибыли. Подарки на улице!

Каждому приглашённому егеря выдали три набитых пакета: со свининой – не зря ж палили борова, с мясом секача и третий – с бутылками: две бутылки «Белуги», две бутылки виски с черной этикеткой, «Камю» и бутылка текилы. Бортников одаривал широко, гости это знали.

Мальцов еще раз пристально посмотрел на охотников. Кроме Сергея и неприметных москвичей, которым предстоял дальний путь, все хорошо поддали, раненого больше не вспомнили ни разу. То, как быстро примчался егерь, и прибор ночного видения на его шапке не давали Мальцову покоя. Но лица вокруг были либо умиротворенно-пьяные, либо непроницаемые.

Всю обратную дорогу Бортников болтал без передыху и ни о чем. Осталась позади охотничья деревенька, пруд с карасями-карпами. Луна царила высоко, бесстрастная, одинокая среди мириадов звезд.

– Красота. Знаешь, как на Украине? Звезд миллиарды! Китайцев на земле не уродилось столько, сколько у нас звезд, не чета здешним звездам, и поярчей и побольшее ваших будут. И тепло, и запах от реки и с лугов пряный! Тут так не пахнет, тут всё холод да тинка поганая. А вода – зеркало, а в ней сомы кувыркаются, чисто русалки, а брызги – чешский хрусталь отдыхает! Жил бы себе тихо, сидел бы с удочкой, бродил бы с ружьем по болотам с собакой. Все мы к земле тянемся, в крови это у нас. Но покой нам только снится – так поэт сказал?

Мальцов лишь буркнул в ответ.

– Что такой насупленный, Иван Сергеевич? Сердце петь должно, отличился!

– Устал.

– Брось. Никто к тебе претензий не имеет. Держи хвост пистолетом, чего только на охоте не случается.

– Был же стрелок.

– Все стреляли. Генерал вон обойму рассадил в молоко. И что? Он? Брось, забыто. И недруг твой из строя выбыл. Советую воспользоваться. Пал Палыч перед отъездом предупредил: из Москвы, из министерства культуры комиссия вот-вот нагрянет, Маничкиным там, кажется, сильно недовольны. Тебя кто в Москве-то прикрывает?

– Никто. Звонил в институт археологии, сразу, как из музея вышел. Может, они?

– Всё может быть, но недоговариваешь, Иван Сергеевич, нехорошо, я к тебе с открытой душой.

– Да бросьте вы.

– Твое дело. Так будем общество поднимать?

– Об этом не на ходу говорить. Если серьезно – дело отличное, нам нужно труды экспедиции издавать.

– Пришли Николаю сметку, идет? Только не борзей, Иван Сергеевич, и всё у нас будет, договорились?

– Вроде как. Спасибо за подарки.

– Так сам же и стрелял. И колбасу, колбасу ешь, коли понравилась. Я там велел тебе положить отдельно.

«И меня, выходит, купил. Походя, легко, водкой, колбасой и обещаниями», – подумал Мальцов, пожимая крепкую руку Бортникова. Тот подвез прямо к дому, лихо развернулся и укатил.

9

Печь держала тепло. Он рухнул на кровать, ворочался, вставал, пил воду – сон не шел. Мерещился подстреленный вепрь, казалось, руки пахнут его тяжелым мускусным запахом. Встал под душ, тщательно терся мочалкой, но и чистое тело не принесло покоя. Он хорошо знал это состояние, накатывавшее редко, но неотвратимо, – убеждал себя, что надо б выпить, чтобы успокоиться и очистить голову от думок. У них в семье алкоголь был под запретом, мать никогда не ставила на стол графин, даже чекушку, только если приезжал из Москвы ее брат – дядя Вадя, флотский кардиолог. При нем отец не слетал с катушек, выпивал чинно, не больше трех лафитничков. Дядя Вадя, балагур, бабник и отличный специалист, лечивший в советские времена самого адмирала флота Горшкова, с которым состоял в приятелях с молодости и дружбой с которым дорожил и похвалялся за столом, даже спирт пил, как воду, – привык на фронте и в госпиталях. Отец его почему-то стеснялся. Выпивал поначалу за компанию, после покидал застолье, тихо ложился на кровать и засыпал.

Отец запивал неожиданно, но крепко. Правда, пил недолго – три, от силы четыре дня. Сбега́л на автобусе в рабочую столовку на окраине города, находил там собутыльников – оставшихся в живых фронтовиков, и с ними пил без стеснения; приходил домой на бровях, стучал в прихожей ботинками, что-то гневно буровил под нос, валился снопом в свой угол. Мать начинала причитать, разводила клюкву в большом бокале, ставила у кровати и переходила спать на диванчик. Пьяного отца не переносила, брезгливо оттопырив мизинец, сгребала его грязное белье, замачивала в тазу в мыльной воде. Наутро с остервенением терла отцовские брюки на волнистой стиральной доске, лупила скрученной в жгут ковбойкой по стенкам ванной, изгоняя из невинной байки смрадный дух загула. Отец ее пил горько и тиранил мать и дочек, был драчун и забияка. Далеко не единожды, подхватив на руки маленькую сестренку, сунув босые ноги в валенки и накинув на ночную рубашку кроличью шубку, мать сбегала к бабушке, жившей через две улицы, и там, на русской печке, отогреваясь и глотая вкусный малиновый чай вперемешку со слезами, потихоньку успокаивалась, пока тепло от печи, малиновый настой и добрые бабушкины руки не погружали в спасительный и безопасный сон. Мальцов-отец не буянил никогда, всю жизнь он безропотно терпел женины словечки, язвительные, а порой и вовсе обидные, но, когда накатывало, срывался и уходил и пил, сколько могли вместить душа и желудок. На второй день вставал хмурый, прибитый, волоча ноги, шел похмелиться, теперь уже в городской шалман у моста, в двух шагах от дома, и опять приходил пьяней вина. На третий день отлеживался молча, крепился, лишь иногда отхлебывал из бутылки, но всю не выпивал, спал-бодрствовал, пил-лежал, как оглоушенный. Утром четвертого дня долго и тщательно чистил зубы мятным порошком и отправлялся в школу преподавать свою географию. Мать выливала остатки из бутылки в туалет и дня три, а иногда и неделю с ним не разговаривала. Отец не просил прощения, не чувствовал за собой вины. Школа и география, которой был предан, не давали ему скатиться на дно, как большинству вернувшихся с войны. Постепенно семейная жизнь входила в привычное русло. Мальцов знал: мать прожила жизнь в постоянном страхе, детская травма так и не прошла. В школе отца прикрывал директор-ветеран, который его понимал и ценил. Про войну отец никогда не рассказывал, сколько бы сын ни приставал с расспросами. Мальцов знал только, что тот воевал сперва рядом, прошел Вяземский котел; дошел до Будапешта, где его ранило под списание. Вернулся в родной город, отучился в областном педе, всю жизнь проработал в школе. Запивал раза два-три в году. В обычной жизни был как все учителя: возился с детьми, проверял тетрадки, читал единственному сыну сказки, играл с ним в города и столицы. До сих пор Мальцов помнил столицы всех государств, хоть ночью разбуди.

Вот теперь накатило и на него, благо дармовая выпивка стояла на столе. Мальцов бросил на сковороду кусок свинины и, пока мясо жарилось, пропустил рюмочку «Белуги» под кусок бортниковской колбасы. Водка была отменная. Убрал мясо и вторую бутылку в холодильник, туда же поставил и початую магазинную – охлаждаться.

Опять налил и выпил уже под свиной эскалоп. И опять налил-выпил. Тепло разлилось по телу, докатилось до головы, свинцовая тяжесть ушла из живота. Отчего-то проснулся зверский аппетит. Отрезал еще кусок, бросил на сковороду, нарезал полукольцами лук, высыпал горкой на мясо. Готовил машинально – думал, кто и зачем покушался на Маничкина. Кому выгодно? Бортникову? Пал Палычу? Неведомым москвичам, посягающим на город, мечтающим построить тут очередной доходный туристический бизнес?

Выглянул в окно. Темень стояла адская, облака затянули небо, хорошей погоде, пожалуй, наступал конец.

«В такую погодку б на печке валяться и водку глушить в захолустной пивной, в такую погодку б к девчонке прижаться и плакать над горькой осенней судьбой», – пропел куплет из блатного романса. Воспринял его как тост, накатил и опрокинул рюмочку, еще из дедовых запасов, граненую, хрустальную. Девчонки не было, печка и водка – под боком. Если правда удастся создать общество любителей города, можно б было жить, но Бортников плевать хотел на публикации, на книги – впрочем, может, сегодня и они ему были зачем-то нужны. Что за туча надвигалась на город? Но то, что надвигалась, – факт.

– Выйдем на сте́ны, отстоим! – по привычке, в подпитии он начинал разговаривать сам с собой, случалось, и покрикивал в голос. Когда ловил себя на этом, знал: отключка скоро. Вырубил газ, оставил на сковороде недоеденную свинину, утащил бутылку в кровать. Перед сном проверил входящие. Трижды звонила Нина.

Надо будет – перезвонит. Отключил телефон, бросил в кресло, покидал на него одежду. Нырнул под одеяло, опять отпил, уже из горлышка.

Перед глазами встал кабан, напряженно вслушивающийся в тишину, а вокруг – заливший всё свет высокой луны, отрешенный, надмирный. И вот кабан превратился в зверя, выходящего из бездны, что сохранился на фрагменте найденной ими фрески. Большой кусок можно было бы выставить в залах музея, но Маничкин предпочел заточить его в подвале. Тонированное светло-зеленым кобальтом пространство очерчивал потускневший киноварный круг – клеймо, выделявшее на фреске образ страшилища. Зверюга с волнистым алым языком выступал наружу из темной пропасти ада. Он уже показался весь из дыры, разверзшейся меж острозубых скал, заступил лапами на размытый кисточкой зеленый фон. Мощную треугольную лопатку покрывала струящаяся грива, копьевидные уши застыли торчком, злой глаз-бусинка впивался в тебя, как уголек во льдину, прожигал глубоко, поселяя в груди ужас, напоминал о зыбком пограничье бытия-небытия. Зверь был изображен вполоборота, принюхивающимся к дыханию жизни, которую собирался пожрать. Он чуть присел на задние когтистые лапы, готовясь к стремительному броску. Зеленый, успокаивающий фон, разлитый предвечерним туманом, живописец выбрал специально, подчеркнув контраст мира духовного и осязаемого чувственно черно-алого материального чудища. Они противостояли друг другу, находясь в подвижном равновесии. Так налаженная, ровно текущая жизнь готова в любой момент расколоться, обрушиться на голову предательством жены, громким ревом машины, грубым окриком егеря и погнать галопом от покоя к суете, от цельного к мелочному.

И потащило против воли, всё скорей, куда-то вниз, вглубь, как будто под землю затягивал огромный пылесос. Замелькали в голове картинки: вепрь, а на нем три большие буквы ОАО – клеймо на шее подстреленного секача, почему-то горящее голубоватым пламенем, словно его полили спиртом… Бортников с трубой, как архангел на монастырской фреске, – маленький, стоит на подножке «гелендевагена», а труба больше его в три раза, тянется золотым раструбом к облакам… Егерь-громила в черных спецназовских доспехах, с прибором ночного видения

вместо глаз этаким робокопом выглядывает из кустов и целится прямо в грудь из бластера… Маничкин, в смокинге и полосатых гангстерских брючках и желтых крокодиловых туфлях, стоит на трибуне, убранной лозунгами «Единой России»… он вскидывает руки и заваливается вбок от ударившей пули, путается в бело-сине-красных простынях и исчезает из поля зрения, как боксер, вылетевший за канаты… Всклокоченная Нина верхом на опаленной свиной туше, в плащ-палатке и с пионерским галстуком… Жирный Пал Палыч, приблизивший жуткое лицо упыря прямо к его глазам… Он настойчиво стучит тяжелым серебряным портсигаром Мальцову по лбу. Стук отдается в висках. Голова раскалывается от стука…

Мальцов приоткрыл глаз. На улице затяжной дождь, по мутному оконному стеклу стекают серые струи воды.

Воды!

Вскочил, приник к крану. Стук не унимался. Полез в холодильник, откупорил вторую бутылку, налил в хрустальную рюмочку. Выпил. Стук всё не унимался. Понял наконец: кто-то назойливый колотится в дверь.

– Чего надо? Я болею.

– Иван Сергеевич, вы как? Это Дима, откройте.

Натянул штаны, махнул еще рюмку для уверенности. Пошел открывать.

10

Дима Кузнецов, самый преданный из четырех сотрудников экспедиции, пришел к ним на раскоп летом после шестого класса школы. Остался – и стал незаменим. В прошлом году он кое-как закончил школу, в армию его не брали из-за астмы. У Мальцова Дима хватался за любую работу: летом пропадал на раскопах, зимой помогал в камералке – мыл керамику, рисовал находки. Еще Дима отвечал за склад инструментов – на нем держалось хозяйство. Мальцов его полюбил, Дима платил за любовь бескорыстной преданностью. Отец давно бросил их семью, спился и тянуть двоих детей матери, торговавшей в магазинчике на площади овощами, не помогал. Экспедиция, раскопки, разведки по области, костер – это было Димкино. Он хорошо и с удовольствием работал руками, из него должен был получиться отличный реставратор.

Дима ворвался в квартиру, увидал немытую посуду, оценил состояние шефа.

– Что же вы, Иван Сергеевич? Не время сейчас. Из Москвы завтра комиссия приедет, Маничкина снимают. Кто-то там капнул, что нас разогнали.

– Кто сказал?

– Светка-секретарша. По факсу пришло письмо: сама Лисицына едет. Завтра в девять тридцать в музее полный сбор. Нина Петровна меня послала, она вам дозвониться не может. Она приедет с Калюжным.

– Этого что черти несут? Он тверич, тут наша вотчина.

– Я не знаю, Иван Сергеевич. Вы водку не пейте больше, ладно?

– Всё, всё, понял. Иди. Нине скажи: утром подойду. Не доноси на меня, я буду в порядке, обещаю.

– Мы все за вас, Иван Сергеевич, не сомневайтесь.

– Давай-давай, – Мальцов потеснил мальчишку к двери, – еще повоюем. Бортников нас поддержит, вчера был у него на охоте.

– Говорят, Маничкина подстрелили. Он в ЦРБ лежит, к нему музейских не пускают.

– Выздоровеет. На нем как на собаке заживет.

– Нина Петровна вам будет звонить, а я пошел. Я не скажу, Иван Сергеевич, но вы того – кончайте, ладно?

Мальцов закрыл дверь на ключ и на засов. Достал из холодильника бутылку «Белуги». «Водка для тру́сов», как называл ее Калюжный, – после «Белуги» не бывало похмелья.

– Ну, значит, с праздником!

Чокнулся с холодильником, проглотил не поморщившись. Налил вдогон, выпил махом, пошел в комнату, упал на постель. Телефон включать не стал. Приедет с Калюжным, сама всё расскажет.

– Слетаются вороны, падаль учуяли!

Стало вдруг нестерпимо жалко себя, экспедиции. Нина, Нина, ей-то что было не так? Ведь всё, всё он ей дал, вылепил из нее специалиста. Злоба вскипела, на глаза навернулись слезы.

– Нельзя так, нельзя. – Беспохмельная водка пала на вчерашние дрожжи. – Нельзя, в запой уходить нельзя. Отлежусь. Бабы… где найти настоящую бабу, все прохиндейки…

Потянул носом – показалось, что почуял запах мертвого кабана, душный, тяжелый. Плечи и шея словно налились свинцом – встряхнул головой, но легче не стало. Заплачки надо было кончать, но так хотелось, чтобы Нина лежала рядом. Прижался бы к ней и сразу б уснул. Но не было никого рядом – холодные беленые стены, грохочущий на кухне холодильник. Две фотографии на книжной полке – мамы и Нины. Обе ушли от него. Обе навсегда. Сжал зубы,

стиснул кулаки. Встал, походил по комнате из угла в угол. Долил остатки водки в подвернувшуюся под руку чашку и потом только отключился снова.

День проспал мертвым сном, зато ночью дважды вставал под душ, затолкал в себя вчерашний кусок свинины, пил чай с малиновым вареньем. Потел. Глядел в темное окно. Слушал свист ветра и дробь капель по кровельному железу, к водке больше не притронулся. Под утро побрился, сменил рубашку и начистил до блеска ботинки. Еле-еле дождался девяти. Ноги предательски дрожали, пока надевал носки. Но главное, чтоб руки не подвели, чтоб по ним не вычислили. И злость вылечила, вспыхнула, ударила в голову: в самом-то деле, па-ашли они все! Вытянул руку, пальцы развел – не дрожат! Успокоился.

Но шагал по улицам как конвоируемый: голова опущена, руки за спиной. Считал шаги – это всегда помогало. А сердце подсказывало: ждать хорошего от начальника музейного департамента нечего. Про Лисицыну рассказывали разные гадости. Маничкин перед ней лебезил, раз в месяц ездил в Москву на поклон, похоже, кормил ее, отношения деревского музея-заповедника и министерства были самые расчудесные. И нате вам с кисточкой – комиссия, Маничкина снимают.

Официально Мальцов числился уволенным, бояться было нечего. Но страх был. Ведь как только узнал об увольнении, о Нинином предательстве, написал на одном дыхании и отправил в столичную газету статью. Разгромную. Рассказал про воровство Маничкина, про то, как Москва и местные власти душат культуру в Деревске. Ночью проверил в интернете: статья вышла. Редакция сопроводила ее врезом, от министерства требовали срочного ответа. Приезд Лисицыной – реакция на статью? Своим он о статье не сказал. Дима явно не был в курсе. И Маничкин на охоте смолчал. Лежит себе подстреленный в ЦРБ. Можно ли его уволить, больного, на бюллетене? И собираются ли его снимать? А Пал Палыч, Бортников?

На музейном крыльце курил Афоня – Афанасьев, заместитель директора по хозчасти, верная маничкинская шестерка.

– Иван Сергеевич, день добрый, рад видеть. Алла Николаевна уже приехала, вас ждут. Что там на охоте приключилось? Мы все в догадках…

Прошел внутрь, не поздоровался: Афоня был главный гонитель экспедиции, все пакости директор делал его руками. Теперь Афоня мел хвостом.

11

Когда он вошел в кабинет, Алла Николаевна сидела за приставным столом, но не на его месте, в кресле, а демократично расположилась на стуле, напротив собравшейся экспедиции – Антона, Димки, Сергея Носова, Вали, Нины и Калюжного. Иван Сергеевич поздоровался со всеми, госпоже из министерства галантно поцеловал ручку. Кисть у нее была маленькая, узкая, с длинными пальцами; тонкое обручальное кольцо на безымянном и золотое, со старой сердоликовой геммой, на мизинце. Ногти подстрижены коротко и покрыты бесцветным лаком. Алла Николаевна носила строгий брючный костюм, подчеркивающий четкие линии фигуры. Линии эти незаметно дублировала воздушная белая блузка с тонкими складочками: два ряда шелковых защипов из-под кокетки, стоячий кружевной воротник. Круглые перламутровые пуговицы, выстроившиеся в ряд на ровно отглаженной планке, схваченные по краю тонкой темно-желтой окантовкой, чуть вздрагивали и мерцали на свету синими и зелеными искрами, когда Лисицына говорила. Окончательно сразили Мальцова ее ноги: балетные, девичьи, в легких замшевых туфельках на пружинившей каучуковой подошве. Потом, когда прогуливались вдвоем, Мальцов завороженно смотрел, как она тянула носок, ставила ноги чуть вразлет, словно резала коньком лед. Легкая фигурка в аккуратном светло-бежевом плаще – спина прямая, как свеча – плыла над мостовой рядом с его черной курткой, нелепой и неуместной, смахивающей на шкуру чудовища, прилепившегося к выпорхнувшей из тумана нимфе. Говорила Лисицына мягким и уверенным голосом, низким, как у всех курящих, в котором безошибочно угадывались властные нотки. Сколько таких встреч-летучек провела она на своем посту, скольких убедила, улыбаясь кончиками губ, заговорщицки, доверительно вкладывая в уши то, что хотела вложить? Только одно в ней настораживало – глаза. Они были всегда опущены, словно Лисицына страдала затяжной бессонницей, а слегка набухшие утомленные веки и длинные густые ресницы берегли хозяйку от лишнего света. Она лишь на мгновение поднимала глаза на собеседника и тут же опускала долу. И всё же что-то в ее бездонно-карих украинских очах было нездоровое, что при всей уверенности в себе она всячески старалась скрыть, не выпустить наружу. Не потому ли так старательно и отводила глаза от собеседника? Или это был такой выработанный прием, отдаляющий ее от подчиненного, ставящий необоримый барьер вопреки манящему и успокаивающему тембру голоса? Но не грубо по-провинциальному, когда выпученные зенки начальницы стервотной кислотой проедают подданного, а тактично, но строго, что только придавало Лисицыной таинственности и силы. А сила ее ощущалась сразу. Как мотылька на лампу, Мальцова поманило к необычно куртуазной столичной чиновнице, поманило и напугало одновременно.

Алла Николаевна уже разогрела собравшихся, успела настроить на нужный лад. Лица ребят светились, даже Нина посмотрела на Мальцова не с дерзким вызовом, как он ожидал, а тепло, дружески. Калюжный приветливо кивнул. Мальцов нарочито уселся в свое рабочее кресло во главе стола. Лисицына отметила его фрондерство мягкой улыбкой и воздушным повелевающим кивком позволила влиться в общую беседу. Директор, сказала она, продолжая разговор (Алла Николаевна упорно не называла фамилии), конечно, заворовался. Два дома, огромный участок земли, внедорожник «лендкрузер» – такое на музейную зарплату не приобрести. Так и сказала – «заворовался», правда, тут же заметила, что никто пока за руку его не поймал.

– Но все мы знаем, где живем, понимаем же, – выгнула бровь дугой и продолжила тихо, четко проговаривая каждое слово: – Я могу сейчас снять его с должности. Могу. Но я считаю, это будет неверно. Кажется, ваш директор попал в больницу?

– Это ненадолго, скоро выпишут, – вставил Мальцов.

– Неважно. Сейчас нас могут неправильно понять. Нужны факты, ревизия КРУ. Ее, впрочем, легко устроить. Ваши проблемы мне тут объяснили, Нина рассказала, как закрыли экспедицию. Нагло закрыли и бесчеловечно. Большая глупость, если не сказать – диверсия. Я не дам пропáсть известной старой экспедиции. Институт археологии очень хорошо отзывается о вашей работе, Иван Сергеевич. Я о ней, конечно, тоже знаю. Я предлагаю, – она выдержала театральную паузу, – вам спокойно продолжать работать, делайте свое дело. Я дам грант в два миллиона рублей – вам хватит до конца года. А с нового года подготовим решение и проведем всё как полагается, спокойно и взвешенно. Что скажете, Иван Сергеевич?

– Я уволен из музея и рад этому. С Маничкиным, вором и обманщиком, работать больше не буду. У него доллары перед глазами, судьба города его не волнует. А как вы можете дать деньги? В конверте?

– Зачем же, вот господин Калюжный получает от министерства гранты. Думаю, правильно сейчас сохранить экспедицию как звено его организации, самостоятельное звено. Или вы готовы в течение недели создать свое ОАО?

– Я в деньгах ничего не понимаю… – начал Мальцов.

– Погоди, Иван, Алла Николаевна правильно говорит, – Нина посмотрела ему прямо в глаза, – ведь это то, о чем ты мечтал. Стать независимым от Маничкина.

– И попасть в лапы к Калюжному?

– Не язви, деньги придут на его счет, но достанутся экспедиции. Мы сможем написать отчет, закончить камералку, даже подготовить первый том трудов, и еще останется.

– Посмотрим. Вчера Бортников предлагал помощь.

– Степан Анатольевич? – переспросила Лисицына.

– Предлагать еще не значит дать, – отрезал Мальцов.

– Иван Сергеевич, при всех заявляю: Деревск мне родной, я только деньги приму и тут же и передам, в дела ваши не полезу, мне Твери и области хватает, – важно заявил Калюжный.

Лисицына подхватила его слова, развила, нарисовала радужную и четкую картину. И всё так устроилось, что уже невозможно было перечить ей. Говорила она логично, без недомолвок. Калюжный и Нина тут же вцепились в ее предложение, начали обсуждать детали. Мальцов сидел молча, пристально смотрел на Нину и не понимал, боролась ли она за экспедицию ради Калюжного, или передумала, простила. Мальцова, понятно, только это и волновало. А она всё время обращалась и к ребятам, и к нему, поддакивала Лисицыной, она была мед, его Нина, она улыбалась, и он поверил ей. Ожидал, что станут подкупать, думал, заставят идти на мировую с Маничкиным, но нет, привычная к разводкам Лисицына всё поставила на свои места, легко и красиво. Вору – свое место, науке, уважаемой и драгоценной, – свое.

– Иван Сергеевич, вам стоит занять директорское кресло. При всех спрашиваю, пойдете?

– Алла Николаевна, я – пас, не мое это.

– А я готова, хоть сейчас, – сказала Нина звонко, с улыбкой.

Алла Николаевна посмотрела на нее испытующе.

– Давайте не будем забегать вперед. Я должна всё взвесить. Вы же понимаете, проблема с Деревском должна быть решена. Но бюджет на культуру урезается постоянно, там, наверху, заняты нанотехнологиями и строительством Сколково, – она подавила смешок. – Маничкин поступил глупо и нерасчетливо, отыгрался на вас. А вы тут клад домонгольский нашли, как мне Нина похвасталась, я этого не знала. Сами понимаете – очко в вашу пользу. Да и Деревск – не простой город, с домонгольским слоем, с берестяными грамотами, с сохранившейся екатерининской застройкой. Сейчас многие хотят к нему подобраться поближе. Стоит он на питерской трассе, удобно и выгодно. Если с умом подойти, тут можно туризм развивать. Для старта нужны деньги, но деньги у людей сейчас есть. Опять-таки археологи без дела не останутся.

Речь ее убаюкивала. И Нина смотрела на него как прежде, темные глаза ее кричали: соглашайся, всё будет хорошо. Мальцов кивнул ей, она в ответ хитро подмигнула.

Они беседовали с час, под конец внесли чай с печеньем, Лисицына привезла с собой вкусные бельгийские ракушки с белым шоколадом. Нина воспользовалась случаем, за чаем еще раз звонко, как на пионерской линейке, заявила:

– Алла Николаевна, подумайте, я правда хочу и смогу быть директором!

– Подумаю, Ниночка, но сначала нам надо с Иваном Сергеевичем обсудить одно дело.

Простилась со всеми, еще раз повторила, что ждет срочную заявку на грант, взяла Мальцова под руку. Они шли по набережной к главной городской площади, мимо пушистых елей, высаженных мэрией в прошлом году, мимо памятника архитектору Барсову, мимо ротонды, где продавали сувениры, к мосту на другую сторону, на бортниковскую часть, на его набережную.

– Неплохой получился ансамбль, – Алла Николаевна провела рукой по зданиям, по гостинице «Дерева», по штаб-квартире «Единой России» с провисшим трехцветным флагом над крылечком.

Мальцов поддакнул. Он был насторожен. Он ждал разговора о статье, вслушивался в ее речь, но министерская дама, похоже, наслаждалась прогулкой, искренне изумляясь бортниковскому тщеславию.

– Как всякий нувориш, он начал с архитектуры, это похвально, но и тривиально. Вроде для города, но для себя ж оттяпал лакомый кусочек, умно.

– Степан Анатольевич оплатил большой раскоп, и вообще он помогает не только экспедиции, но и коммуналке, больницам, школам.

– Раскоп был под одним из этих зданий?

– Конечно, но Бортников – единственный в области, кто поступил по закону, раскопал котлован, а не захватил его, хотя, наверное, мог бы.

– Губернатор у вас особенный, – Лисицына вдруг резко сменила тему. – Вы знаете, что он любитель старины, собирает мебель, картины и, поверьте мне, хорошо в этом разбирается?

– Откуда мне знать? Пусть что угодно собирает, но культуре он не очень-то помогает. Придумал отдавать в аренду памятники архитектуры, Райские Кущи продал. Все теперь пекутся только о выгоде.

– И очень хорошо, Иван Сергеевич, в других губерниях памятники стоят мертвым грузом, а ваш додумался. Ведь аренда – это не собственность, да и реставрировать придется. Деньги на дороге не валяются, их откуда-то взять надо, вы об этом задумывались?

– Переведут в собственность, через год-два и переведут, им, простите, всё дозволено. Создали государство в государстве, где то́ им можно, что другим нельзя… Обязательно переведут, а там, сами знаете, нос не сунешь, заборы построят.

– Ошибаетесь; а охрана культуры на что? Вот тут-то вы и выступите как наш сотрудник. Федеральный, что важно. Вам не то что Деревск – Тверь, по большому счету, не указ. Подчинение прямое. Если вместе с министерством, то очень даже можно и управу найти. Вы видите по-другому? Или считаете, что нужно всё по старинке латать, через государство? Но государство больше на реставрацию на местах денег не даст. Местные памятники – на месте и реставрировать, а если денег нет, искать инвесторов.

– Инвесторов, типа нефтяного короля? Он же Райские Кущи угробит. Или всесильных братьев-дзюдоистов? Много они в классицизме смыслят.

– Иван Сергеевич, почему всё-таки вы отказываетесь? Боитесь ответственности? Подозреваете меня, думаете, в обиде на статью?

– Не думаю я ничего. Написал правду, за каждое слово отвечаю.

– Понимаю и принимаю, нам в Москве не всегда всё видно. Вот мне и нужен свой человек в провинции… Вы человек прямолинейный, но толика дипломатии вам бы не помешала. Вот ваша Нина, пыталась меня очаровать, а вы не пытаетесь, почему?

– Не умею.

Тут Мальцов не выдержал и рассмеялся.

– Наконец-то. Нина еще совсем молодая, а у вас опыт. Если согласитесь, приезжайте в Москву, договоримся, я не кусаюсь. Поможем, подскажем, обговорим все условия.

Она протянула руку вверх, где на высоком берегу в листве тополей выглядывал купол путевого дворца.

– Замечательное здание, восемнадцатый век. Перестроить бы его под эксклюзивную гостиницу. Там теперь интернат для неполноценных детей?

– Семьдесят три человека плюс штат. И куда их девать?

– Отселить в современное здание. Путевой дворец Романовых – согласитесь, звучит! Не так и много их сохранилось. Гордостью города мог бы стать – не чета бортниковским новоделам.

– Делал, как умел, он был первым.

– Пора людям со вкусом прийти и стать первыми, не находите?

– Что-то не вижу таких. Здание реставрировать надо.

– Научно реставрировать. Пора возрождать то, что загубили. В стране научной реставрации практически не существует.

– И перепланировать под нужды времени?

– Что же в этом плохого? Дворец не забегаловка, не трактир с пожарскими котлетами, а ВИП-резиденция, для того и строился. Вы не видали, как сегодня приспосабливают под нужды времени старинные здания во Франции, например, в Бургундии?

– Не доводилось, знаете ли.

– Стажировка вам необходима. Вот станете директором, съездите, посмотрите. Нет, прекрасное здание, и эти две улицы на задеревской стороне, там же целые линии старинных домов. Я ваш скепсис понимаю, но, если бояться и ничего не делать, всё рухнет окончательно.

– При чем тут скепсис, я везде кричу, что надо реставрировать. У нас же «Мосфильм» ежегодно кино снимает – типичный провинциальный город послевоенного периода. А если залезут нувориши – всех на корню купят и понастроят балаганов. Простите, не верю я пока в просвещенных инвесторов. И министерство, боюсь, не сдюжит, тут вам не Москва – захолустье.

– А вы не бойтесь. Как я понимаю, вы тут единственный знающий человек. Времена меняются, Иван Сергеевич. Вы думаете, что люди готовы бросать деньги на ветер, а это не так. Люди учатся, у них появляются новые амбиции.

Она улыбалась, говорила так же тихо, вкрадчиво и не поднимала уставшие глаза, словно всё время следила за дорогой, словно боялась наступить своими балетными туфельками на осколок бутылочного стекла.

– Времена меняются, Алла Николаевна. Нина – современный человек, она с интернетом на ты, а я со свечой живу, как она говорит. Мое дело – руководить наукой, а Нине интересно всё, и сил у нее немерено.

– Предлагаете семейный подряд?

– Предлагаю реального кандидата, который не допустит простого распила и откатов, на чем пока всё стоит. Я старомоден, мне в эти битвы ввязываться поздно. Дело свое знаю, помогать готов, как всегда, но с бизнес-сообществом мне не по пути. Времени осталось мало, надо делать то, что умею: книгу дописать, докторскую защитить… Сметы, деньги – это не мое.

Алла Николаевна вдруг стрельнула по нему быстрым взглядом, но тут же опустила глаза и сказала тепло, почти по-матерински:

– Я вам очень признательна, Иван Сергеевич, за прямоту и честность. Буду думать. Сейчас скажу, что вы меня удивили, приятно удивили, но и озадачили. Я надеялась, мы с вами сработаемся.

– А я не отказываюсь, я всю жизнь тут, и помру тут, и никуда не собираюсь. И в Бургундию съездить не против, всю жизнь мечтал, – перебил ее Мальцов.

– Конечно, конечно. В Бургундию, и еще бы в Лондон. Вам просто необходимо посмотреть, как современные здания в старый город вписывают, замечательно, не лужковско-рублевское барокко, – Лисицына хихикнула и презрительно сморщила носик. – Время прорабов прошло, пора созидать, идя порой со временем на компромисс, но не в ущерб стилю. А стиля-то как раз нам и не хватает! Да, задали вы тут мне задачу, но рада, что выбралась, посмотрела своими глазами. Я ведь Деревск со студенческих лет люблю. Печально, если дома развалятся окончательно и мы не успеем их спасти. Очень печально.

– Бортников собирается создать клуб любителей нашего города, вступайте в клуб, будете почетным председателем.

– Степан Анатольевич тут главный воевода, он ведь и мэров меняет по своему усмотрению, но это до поры до времени. Ему тоже учиться надо, а он, как я поняла, упрям и своевластен.

– Какой есть, Алла Николаевна, воевода, да, как и везде, власть сама их понаделала. Но я с ним ладить научился и не боюсь, потому что независим. Город важнее. Вот вам и компромисс, между прочим.

– Ну и слава богу. Насчет статьи не волнуйтесь, министерство уже отреагировало. С Маничкиным разберемся, с экспедицией дело решенное, вы согласны?

– Согласен работать, но не с ним. Не могу против принципа идти, простите.

– Никто вас и не заставляет. Но писать пока в прессу излишне, как думаете?

– Прижало – написал. Пока больше не стану, вы ж приехали, разобрались, как мне показалось, а надо, и на таран пойдем! – Он испытующе посмотрел на нее. Она погасила его взгляд улыбкой.

– На таран всё-таки преждевременно, не надо. Разобралась. Тут разобралась, а знаете, сколько у меня таких протестов, таких горячих проблем, обид, незаслуженных увольнений? Горы! Во Пскове с директором заваруха, в Ростове Великом бухгалтера во главе музея хотят поставить, хорошо еще не водопроводчика, но Деревск у нас на особом счету – федерального подчинения музей, и, повторяю, я люблю ваш город.

– Все его любят, – просто сказал Мальцов.

У гостиницы дожидался лисицынский «мерседес», шофер вышел, распахнул заднюю дверь. Алла Николаевна вложила свои ладони в руки Мальцову, подчеркивая этим жестом возникшую меж ними связь, заговорщицки кивнула головой.

– Спокойно работайте, Иван Сергеевич, решайтесь, всё у нас получится.

Он проводил взглядом «мерседес» и, когда тот скрылся за поворотом на шоссе, вдруг осознал, что слишком гладко прошел разговор, слишком красиво. Чего она достигла своим визитом? Купила их грантом, Маничкина пообещала снять, однако не сняла, зато протест с места погасила: пообещал же ей лично больше не писать в прессу. «Мерседес» почему-то особенно задел его. Лисицына была, конечно, крупная шишка – завдепартаментом, но недемократичность ее кареты, это в нищем-то министерстве культуры, заходы насчет путевого дворца, обещание заграничных стажировок… Она прощупала почву и легко переиграла Мальцова, Нину, Калюжного… Не шел из головы ее тяжелый, опущенный к земле взгляд и то, как она вдруг полоснула по нему глазами, когда он сказал насчет откатов.

12

Он поспешил домой, знал, что все там и его ждут. Нина открыла дверь, он поцеловал ее в щеку, она позволила. Наигранно-весело распахнула дверь из прихожей в комнату:

– Встречайте нового директора деревского музея-заповедника! – уступила ему дорогу.

– Я отказался! – Обвел своих сотрудников взглядом и увидел, как мгновенно потухли их глаза; они старались не глядеть на него, насупились, ждали, что он им предложит взамен.

– Отказались, – выдохнул Димка, – что ж, опять под Маничкина?

– Зачем? Под Калюжного или вот под Нину Петровну, – хмыкнул Мальцов.

Рассказал про прогулку с Лисицыной и еще не поставил точку, не упомянул барский «мерседес», как Нина грубо перебила его и сразу сорвалась на крик:

– Идиот, от такого предложения не отказываются! Ты не понял? Она меня ни за что не поставит, ей ты нужен, твой авторитет. Надо было дипломатично и вежливо соглашаться, хвостом мести, а потом… – Она задохнулась, из глаз брызнули слезы.

– Хвостом мести я не умею и не стану! Хочешь, чтоб я шел к этой лисе в услужение? Думаешь, она такая ласковая и простая? Она всё выведывала про дворец. Всех этот дворец интересует, крупная дележка идет наверху, а ей надо обязательно встрять, долю не упустить. Она меня открыто вербовала, ей тут доверенное лицо нужно, чтоб руку на пульсе держать, федерального значения приказчика ей подавай! Я ей про распил и откаты, так она меня глазами высверлила, не ее ли имею в виду. Такая же, как все, только ножка балетная с толку сбивает, но откуда б взяться другой? Других в команду не приглашают, разве ты это еще не поняла? Я статью написал в газету, она приехала гасить пожар и погасила – грантом умаслила. Думаешь, отдаст она Маничкина? Не отдаст. Он ей верой и правдой все годы служил. И про нападки на экспедицию она знала, если сама их не благословила. Не будь ты такой простой!

– Дурак! Тебя прощупали, и ты сдался, сразу, как тряпка! Был момент, и ты его упустил! Не могу, не хочу с тобой иметь ничего общего!

Слезы против ее воли катились по лицу, щеки покрылись красными некрасивыми пятнами. Она уже не кричала, почти шептала. Этот сдавленный, незнакомый прежде шепот напугал Мальцова больше, чем если бы она голосила.

– Ты, ты… ты мне противен, противен! – выдавила сквозь силу и выбежала на кухню.

Бежать за ней Мальцов при всех постеснялся. Он сел, грозно нахмурился, упер руки в колени. Поднял взгляд на наблюдавшего за ним Калюжного.

– Ты веришь, что она отдаст Маничкина?

– Какая разница, – сказал Калюжный. – Нина права, ты упустил момент. Лисицыной всё равно – ты, Маничкин… Ей надо было в ноги падать, сказать, что ее до гроба, а там как пойдет. Она не вечная, а Деревск – вечный, не понимаешь?

– Нет! Нет! К чертовой матери! – На Мальцова накатило. Он закричал на Калюжного, на перепуганных ребят так громко, что не только Нина на кухне, но, наверное, полдома услышало его вопли. – Ни за что! Я не буду на побегушках у сборщиков подати! Слугой у новых бар? А-а-а! Размечтались! Под татарами не ходил и не хожу! Скажите еще, чтоб откат ей предложил на блюдечке! Принес: вот, извольте кушать! На колени, может, еще встать для пущего эффекта?

Он задохнулся, закашлялся, замахал руками, наконец вдохнул полной грудью и заорал с новой силой.

– Бюджет музея за миллион долларов в год переваливает, и ты это отлично знаешь! Миллион зеленых! У сраного заштатного музейчика! А сотрудников тридцать человек по ведомости, а работающих вдвое меньше! Маничкин ей платил, доказать не могу, но знаю, он из Москвы не вылезал. Вы хотите, чтоб я так музеем управлял? В данники записался? Мелень-

ким таким воеводишкой заделался? Не подпишусь! Совесть не потерял! По мне, лучше на помойку, чем с ними!

Он бросался на всех сразу, яростно, как цепной пес на подвернувшихся чужаков. Калюжный, единственный, кто мог бы возразить, сам строил бизнес на откатах, а потому опешил и промолчал. Мальцова уже несло, Нинины слова прожгли ему сердце, и он орал, обвиняя их всех в продажности и бог весть в чем еще. Понятно, что, заорав в полный голос, он быстро сорвал дыхание, силы вдруг оставили его, он захлебнулся своим криком, задышал тяжело, замолчал, закрыл пылавшее лицо руками. В павшей тишине расслышал, как заскрипели стулья, зашаркали подошвы, – народ потихоньку тянулся к выходу. Говорить после его отвратительной истерики было не о чем. Все были так прибиты прилюдной ссорой начальников, слезами и визгливыми воплями, оскорблены его облыжными обвинениями, что находиться сейчас рядом им было противно и страшно.

Мальцов поднял голову – никого. Пошел на кухню. Нина стояла у окна, смотрела на реку.

– Нина. Дорогая. Ты, ты… – Он потерял вмиг все слова, подошел сзади на цыпочках, прижался к ее спине, обхватил за плечи. Она не шелохнулась, как если бы его и не было рядом. Ее холодность враз остудила порыв, сердце тыкнуло, сорвалось с обычного ритма, рухнуло в провал и будто исчезло вовсе, руки скользнули по ее плечам и повисли как плети. – Нина. Скажи, ты правда думаешь, надо им подыгрывать? Ведь это нечестно, Нина? Наука не имеет никакого отношения к их мышиной возне. У науки есть своя этика.

Она повернулась, положила ладонь ему на грудь, медленно и презрительно отстранила от себя, как отталкивают неодушевленный предмет.

– Ты невыносим, Иван. Только о себе, только о себе. Деньги, конечно, не всё, но я устала, не могу больше, ты ослеп, любуешься собой, а я… У нас будет ребенок, иди прочь, прочь! Не хочу тебя, ты мне отвратителен, мерзкий, старый, прочь! – Толкнула его уже сильно, требуя дорогу. И пока он, потерявший дар речи, смотрел на нее, неприступную и оттого особенно прекрасную, она протиснулась между ним и плитой так, чтобы не коснуться его даже ненароком, и не оборачиваясь пошла к двери.

– Господи, Нина, Ниночка, стой!

Она ушла, сильно хлопнув дверью. Ватные ноги не держали его, он осел кулем на пол. В голове еще стояли собственные вопли, и ее шепот, и мертвое, серое, словно у глядящей сквозь воду русалки, лицо. Тишина навалилась, придавила к полу. Он вдруг поймал себя на том, что голосовые связки онемели, как от заморозки, и он воет, давится странными, нечеловеческой речи звуками. И ни слезинки из глаз, и накатившее безволие, и нет сил бороться с истерикой. Щеки запылали от прилившей крови, в голове пульсировало: «тряпка», «о себе», «только о себе», «будет ребенок»… Раскачивая головой, как хасид на молитве, он встал, бормоча Нинины слова, побрел вслед за ней. Но на улице никого уже не было.

Он шагнул в сторону реки, еще раз шагнул, шел, только б уйти подальше от проклятой квартиры, где не мог оставаться ни минуты. И постепенно, с каждым новым шагом, гордость, и злость, и обида на себя, на них на всех, на Нину, что так, так! предала его, в такой момент, всё больше трезвили его. Он уже дышал, а не хапал воздух пережатым, онемевшим горлом, уже передвигал ноги, чувствовал их, и руки, которые некуда было деть, упрятал за спину. Он даже расслышал какую-то птичку, испуганно чвинькнувшую в кустах у ручья.

– Идивот, – обругал себя, так всегда говаривал ему дед, когда внук особенно доставал его. Не зло ругал, скорее ласково. Постоял, бездумно пялясь под ноги. – Идивот и есть! Истинный идивот! – Выдохнул и опять начал взбираться в гору.

Что стоило согласиться, пообещать Лисицыной взять в руки музей? Но понимал всегда, еще когда в первый раз предлагали, что придется ставить крест на науке. Почему-то вспомнилось вдруг седьмое правило Тимура-завоевателя, что гласило: «Всегда давал лишь такие обещания, какие мог исполнить: я думал, что если точно выполнять обещания, то всегда будешь

справедливым и никому не причинишь зла». Назидательный текст, составленный для потомков, велеречивый и пафосный, написанный в канцелярии Великого Хромца, подчинившего полмира, разбившего хана Тохтамыша и тем спасшего Русь от тягот монгольского ига… Мальцов питал слабость к красивым оборотам обволакивающей восточной речи. Правило Тимура он выучил и старался руководствоваться им всегда, он и Нине любил его цитировать. Поначалу оно ей нравилось.

Повторил снова, и вдруг как пропасть разверзлась под ногами. Тимур – жесточайший правитель, кровавый тиран, о каком зле или добре мог рассуждать человек, уничтоживший сотни тысяч побежденных, стиравший с лица земли целые города? Слова́, пустые слова́! Как и эта слепая вера в науку. О какой этике могла идти речь? Нина носила его ребенка и ради этого готова была на всё, лишь бы зарабатывать достаточно, она думала и о нем, о Мальцове… Но ведь молчала, сказала только теперь, когда уже было поздно что-либо изменить. Побоялась? Знала, что он свое решение не изменит?

Два года назад Нина забеременела, легла на сохранение, но не сумела доносить. Скольких трудов стоило вернуть ее из полубезумия, в которое она тогда впала. Нина и проклинала его, и бросалась на грудь, и опять проклинала. Очень кропотливо, медленно и ласково Мальцов ее вы́ходил. А потом сорвался, впал в недельный запой, и они чуть не расстались. Она простила. Но взяла клятвенное обещание – никогда, ни рюмки. И он держался, пока она не ушла. Не призналась, не посоветовалась, бросила, как дворняжку. Но никогда, даже в самой страшной ссоре, Мальцов не видел ее такой стеклянной, белой, бескровной. Презирающей. Принявшей главное решение. Ребенок. Он боялся ребенка, ему пятьдесят один, но она хотела, настаивала. Потом вот не смогла доносить. А теперь опять? Что это за бабские выкрутасы? Как раз сейчас бы надо вместе, но – презирает, отталкивает. И всё потому, что он лишился места? Сама, значит, будет и рожать, и воспитывать, а он? Или у них с Калюжным роман? Нет, глупости, он бы почувствовал. Он бы почувствовал? Тряпка! Купиться на их подачки, стать как все и при этом тихонько делать свое? Нет, так не бывает, дорогие мои, так вот и страну просрали, незаметно.

Как же он орал на нее, когда Нина собралась вступать в «Молодую гвардию», чтоб через эту организацию достучаться до губернатора и нажаловаться на Маничкина, который уедал их всё сильнее. Он орал, потом гладил по голове, объяснял, что так не бывает, что платить придется, обязательно. А она отвечала: «Это я испачкаюсь, а не ты, оставайся чистеньким». И не сломил ее, упрямую дуру.

И ничего, вступила, провела неплохую даже акцию – замотали разрушающиеся здания облитыми марганцовкой бинтами, как будто они – раненые головы, и с той акцией попали в газеты, в интернет. Дошла до губернатора, и тот ее принял, выслушал и дал личное указание Маничкину их не трогать. И отступил трус, год не приставал, замолчал, затаился. А Нину теребили звонками разные одиозные отвратительные личности, звали в «Молодую гвардию». Она ходила на встречи с новоиспеченными комсомольцами, возвращалась с раздувающимися от гнева и омерзения ноздрями: так откровенно покупали ее, сулили посты, деньги и блага. С креативом в их рядах было туговато, Нина была им нужна.

Она устояла, несладко ей было выдерживать молчаливый укор, написанный на мальцовском лице. Как-то даже и призналась, что не права, и вдруг разревелась взахлеб, по-детски. И сразу всё стало легко и хорошо. Тогда-то, наверное месяца три назад, и сделали этого ребенка. Этого! И три месяца молчала? Не рассказала, еще и затаила зло на него. Она всегда хотела ребенка, страстно, и добилась своего, а его бросила, легко, как пустышку. Тряпку! Но ведь при Лисицыной не играла, глаза горели. Глаза… «Только о себе…» Он думает о себе? Она больна, больна, те неудавшиеся роды сломали ей психику, окончательно сломали. Только о себе он думает? Полжизни на гречневой каше! Но теперь, как же теперь? Калюжный станет фактическим руководителем раскопов? Бездарный, умеющий только сметы составлять, забивший на археологию, в жизни не прочитавший ни одной летописи, прораб! А он? Ненужный? Один

против всех. Ведь и Нина подписала себе приговор: станет помощницей прораба. А вдруг всё еще хуже: свалит его потихоньку, она с амбициями, но знаний и общей культуры у нее нет. Неужели ей не страшно?

Все ушли, молча, не простившись. Ну, наорал, такое случалось, но ушли! Обещания… никому не причинить зла… Прикрывался словами изверга, играл в словечки. Совестливый, а люди, они другие? Они – другие. Или правда – любит только себя и себя, любимого, бережет? Глупость! Глупость! Какая нелепость!

Слова путались в голове, опять стало тяжело дышать. Он ощутил себя песчинкой перед огромным, раскинувшимся миром, и бороться с этим миром было бессмысленно. Нина это понимала, а он прикрывался словами изверга только потому, что они, видите ли, соответствовали его нравственным установкам. Это же просто лень, гордыня, в которых на самом пике ссоры упрекала его Нина. Но это было давно, после ее неудачных родов. Когда он запил, из-за каких-то глупых слов тещи, вечно встревавшей в их отношения. Теща всю жизнь проработала мотальщицей на швейном комбинате и уважала только одно – деньги. Науку она презирала, как Маничкин, так Мальцов спьяну ей и врезал. У-у, теща зашлась в крике, но он просто отрубил телефон. Нина, казалось, встала на его сторону, поняла. Чувство, не покидавшее ее окончательно, тогда их опять спаяло. Или одиночество и страх погибнуть без него толкнули тогда ее в его объятья? Нет, нет, вспоминая то время, он гнал от себя поганые мелкие мыслишки, нет, она его любила, в то время еще любила.

Нашла в себе силы, занялась им, вытащила с самой кромки дна, ставила капельницы, гладила по голове. Ох, как же было это ему нужно, как же сладко было лежать в безделье, этаким сраженным королем, лежать под тяжелым одеялом и впитывать тепло ее ладони, щекотно путешествующей по затылку, по макушке, по краю уха, по бровям, по крыльям носа, по небритой щеке… Как Христос босыми пятками по душе пробежал, говаривал в таких случаях дед. И шепот, волшебный, обнадеживающий, втекающий в ухо, вмиг отогрел сердце так, что не стало мочи терпеть, и стыд, весь стыд сразу вырвался наружу горячими каплями из глаз, сознательно залитых водкой, запрятанный глубоко, в потайных закромах сердца стыд хлынул безудержными словами прощения. Тепло слов растопило лед. Они снова любили друг друга и так много дней засыпали единым существом.

А сегодня там, на кухне, он ощутил вселенский холод, словно Нина была где-то далеко, как звезда из другой галактики, отрешенная, отстоящая на миллиарды световых лет. Ее презрение, нескрываемая ненависть прожгли его не испытанным до сих пор адским холодом. Холод сковал и отключил разум, который начал было через злость, через ощущение обиды, через любовь к себе врачевать страшный, неожиданный удар. Холод впился в каждую косточку, втек в каждую мышцу тела, обложил сердце ледяной коркой.

Он поднимался в гору по задеревской стороне города. Часть надпойменной террасы, распахнутой всем ветрам, отсекал ручей Здоровец, с напольной стороны вздымался крутой десятиметровый вал. Треугольный мыс над рекой, поросший бурьяном и кустами сирени, и был древним городищем. Он шел слепо, испуганно ощупывая подошвой земляную дорожку, припечатывал поверхность подошвой, шаркая, – дряхлый пенс, выброшенный на свалку старик. Сквозь стесанные кроссовки острые камешки впивались в ступни, Мальцов не понимал, откуда взялась эта странная колкая боль, морщил лицо и еще сильнее втирал подошвы в гравий, боясь заскользить, скатиться в овраг, сдохнуть там неприметно, как старый кот, чье время приспело. Сколько раз поднимался он здесь на свои раскопы, знал каждую лужу, каждую выбоину, а теперь вот шел как по незнакомой планете.

С городища дохнуло холодным ветром, Мальцов инстинктивно опустил голову. Из левого глаза сорвалась слезинка, Мальцов всегда плакал на ветру. Приложил рукав куртки к глазу. В школе мальчишек, промокавших глаза платком, высмеивали. С тех пор он невзлюбил платки, теперь признавал только бумажные, но их в кармане не оказалось. Платки, как и еду, покупала

Нина. И готовила она, хотя Мальцов мог бы и сам, за годы археологических разведок научился. Но он любил, когда она накрывала на стол. Так было правильно и, что скрывать, удобно.

И вот, вышел на городище. Увидел заросшие сорняками ямы выработанных раскопов, спиленные черные пни – остатки послевоенных лип, посаженных, когда здесь недолго существовал городской парк. Присел на пень. Прижал колени к груди, недоверчиво сложенные крестом руки почти въелись в грудь, посмотрел на пальцы – пальцы мелко дрожали. Упрятал их, зарыл в подмышки. Волосы прилипли ко лбу. Ветер тут всегда дул сильный и холодный, но он ощущал лишь внутренний холод, сгорбился, сник совсем. Мир вокруг дрожал, воздух дрожал, пальцы дрожали, мелко дрожали колени. Галки сидели на проводах чуть покачиваясь, ветер раздувал перья на шеях. Нахохлившиеся черные птицы с серыми шапками голов походили на отряд инквизиторов в кружевных воротниках, пронзительными меленькими глазами следивших за ним, грешником, возведенным на эшафот. Ветер взметал на дорожке пыль, пыль закручивалась в смерчики, взмывала в небеса и просыпалась на голову, на плечи, как зола, которой чернят разбойника перед казнью.

Он замер, лицо вытянулось, казалось, небеса сейчас обрушатся, погребут его здесь, в культурном слое, для будущих археологов. Для Калюжного, вдруг резанула злая, завистливая мысль, для Калюжного, которому теперь достанутся его раскопы.

Жалкий, отчаявшийся, никому не нужный алкоголик, замерший, как кролик в свете фар, невидящими глазами уставившийся в спутанную, неухоженную траву, под которой лежал его древний город, поделенный и проданный за два миллиона рублей… В мозгу словно открылся какой-то маленький краник, бессилие, парализовавшее его, было вызвано не страхом – нет, наоборот, он уже ничего не боялся. Где-то там, под черепной коробкой, молекулы нейромедиатора, регулирующего стресс, сковали его, превратили в ничего не чувствующую сосульку.

Он смотрел на город, раскинувшийся вдали за рекой, на маяки колоколен, сохранившихся, не порушенных большевиками, на реку, темную, свивающуюся в узлы в водоворотах, на серебристые струйки воды, одолевающие каменистую отмель чуть ниже моста, на далекие облака, густые, как холодная вода, темные и грозные, нависшие перстом судьбы, против которой был он бессилен. Остывающая кровь медленно билась в виске, рождая боль, которой он был даже рад, боль глушила все звуки жизни вокруг. И только гулко свистел в ушах ветер и студил помертвевшее, кривое лицо.

13

Мальцов давно осознал, что отстал от мира, ставшего глобальным благодаря паутине, плотно опутавшей, связавшей человечество надежно и бесповоротно. Монголы принесли на Русь систему китайской почты, наладили ямскую гоньбу, сделали доступными поклонные поездки князей в неведомый Каракорум за ярлыком на княжение на обязательные сборы монгольской знати – курултаи. На этих грандиозных празднествах оглашались законы и новые постановления, утверждались права на владение землями, которые, под страхом смерти, никто во всей огромной империи не имел права нарушить до следующего курултая. Дороги и ямская гоньба совершили в тринадцатом веке пространственно-временную революцию, после которой до паровоза и открытия братьев Райт мало что изменилось на планете для путешественников. До появления комфортабельного пульмановского вагона человек ощущал пространство и время на собственной шкуре, расстояния мерили весомыми отрезками жизни, и требовали они невероятных усилий; одна борьба с буранами и беспутицей чего стоила. Природа вставала на пути человека, как выросший из самшитового гребня лес перед ведьмой, а бесконечная дорога, хоть и протянувшаяся по земле, а не по традиционной до того воде или санному зимнику, побеждалась творимой под нос молитвой и громким мугамным пением Востока, пришедшим к нам из обетных богомолий в далекий и прекрасный Иерусалим.

Монголы, сыны голых степей, читавшие направления набегов по звездам Великого Синего Неба (как вчера еще, до изобретения GPS, мы различали стороны света по компасу), привнесли в наши ямщицкие песни еще большую тягучесть, визжащие повторы-восклицания в конце куплета и беспросветную грусть. Да и нечему было особо радоваться. Над каждым смертным нависло свинцовое, как осеннее небо, бремя дополнительной повинности, забирающее излишки, уводящее из стойл мычащий и блеющий приплод, сгребающее подчистую всё сделанное умелыми руками ремесленника и отправляющее добро в бесконечных караванах скрипящих арб с высоченными колесами в дальнюю даль Заитилья. Там деловитые чиновники удела Джучи тщательно сортировали и описывали дань, откладывая для властителя что подороже, а остатки меняли на рынке Сарай-Бату на звонкую монету, навешивали на сыромятные мешки бирку с тамгой, и это ставшее звонким и веселым людское несчастье уверенно кочевало дальше сквозь монгольские степи под приглядом отряда узкоглазых воинов, вооруженных кривыми саблями. Сабли подпрыгивали и выбивали чечетку на левых ляжках, словно им, саблям, не терпелось опробовать многочасовую заточку на шиферном оселке, отведав человеческого мяса и крови. С правого бока терлись о лошадиную шерсть, напитываясь горячим конским потом, емкие сумы с отчетами, деловой перепиской, секретными сведениями, в которых заключалась жизнь и смерть людская, что стоили недорого во все времена. Маленькие и неприхотливые, как и их всадники, степные лошадки шли экономной, но ходкой рысью, грызли удила, исходили желтой горячей слюной, проедающей в заснеженной дороге черные извилистые норы. Отряд из десяти степняков запросто подчинял город, перед ними распахивали ворота, зная, что одно неверное слово, один недобрый взгляд немедленно будут наказаны: сабля взмывала в стылый воздух, синий металл со свистом рассекал его и падал на череп провинившегося, разрубая от темени до трахеи. Данники гнули спины, мели меховыми шапками снег перед ногами лошадей, давили в груди вскипающую злобу, шептали беззвучно то ли молитвы, то ли заклятия, учась отнюдь не ангельскому терпению. Подобно волкам, сопровождавшим в степи отряд монгольских всадников, они ждали удобного случая, чтобы наскочить и погрызть всех без разбору, но случай никак не подворачивался, и они всё терпели, терпели, терпели, а злость и голод только прибавляли сил. Вечером, когда на небо начинала взбираться луна и ветер стихал, погружая мир в безмолвное спокойствие, когда в сенях на ведрах застывала ломкая корочка льда, – при свете трескучей лучины хозяин вставал на колени перед ликами заступников, отбивал исто-

вые поклоны, прося у мучеников их веры, их терпения. Затем замирал, пригнув подбородок к груди. Боясь потревожить храпящих извергов, вспоминал пограбленное хозяйство, пересчитывал в уме скот, приготовленный на угон, особо жалея любимую дочкину козочку, которой на дочкиных же глазах одним ударом ножа порвали яремную вену, бросили истекающую кровью тушку на соломе в хлеву, приказав поскорее подать на стол. А после хлебали густое варево, и сопели, и чавкали, стягивая губами с костей молодое мясо, высасывали из разбитых костей жирный мозг и бросали обглоданные остатки собакам, что всегда предательски увивались за теми, у кого найдется чего пожрать. Наевшись досыта, алчные баскаки валились на полати, где потеплей, поближе к раскаленной печи, а утром, выйдя во двор, орошали его поганой мочой, оставляя после себя дымящийся желтый снег и прохудившиеся закрома, с которыми предстояло продержаться до нового урожая. Молившийся на сон грядущий поднимал выцветшие от горя и лютых ветров глаза горе, и с губ его срывался неудержимый долгий стон, сродни волчьему вою, разлетающемуся по степи у затухающих костров отряда. Знакомый каждому монголу с детства, он радовал их, как радовала когда-то колыбельная старухи в юрте, погружая в еще более крепкий сон, дарующий силы для следующего дневного перегона.

Вопреки верованиям, центр мира сместился. Иерусалим остался мечтой, к которой стремились ду́ши, зато Каракорум стал на долгий век властной точкой, где, как паук в тенетах, сидел кровожадный каган, поджидающий свежую дармовую кровь. Маленькие русские княжества вдруг оказались клочками, заплатами на великой простыне человечества, разросшейся до неописуемых размеров. Из белых углов этой простыни во все восемь щек дули пучеглазые четыре ветра, насылая на род людской, кроме грабителей-монголов, снег и солнце, радость и туманную печаль, гнойную чуму, затяжные чахоточные дожди, беспросветные метели, суховеи и египетскую саранчу, сиречь голод, худобу и смерть. И всё же слово, описывающее, объясняющее тленный мир, связующее его образы, законы, углы и закоулки, накрепко въедалось в отпаренную бересту или в лист дорогущей китайской бумаги, расцветало киноварью заглавных буквиц на толстом свином пергаменте, застывало на восковой доске-цере, как клеймо на коровьей ляжке. И неважно, что́ это были за буквы – уйгурские закорючки, греческие червячки или привычный кириллический устав, – весть была овеществлена, осязаема и не перемещалась без сумы хозяина или его гонца. Самим материалам, на которых запечатлевали информацию, можно было найти и другое применение: разжечь костер на стоянке в степи, где бересты бес накликал, обвернуть сочащуюся сукровицей рану от широкого монгольского срезня, соскоблить чуждое латинское вранье и написать свое правдивое пояснение на «Точное изложение православной веры» Иоанна Дамаскина, – но лучше и правильнее было читать умные словеса в тишине, утверждаясь в мудрости, взыскуя благости Божией, что «*всё призывает и привлекает к тому блаженному концу, когда прекратится и отбежит всякое страдание, печаль и стон*». После запечатленную мудрость следовало хранить как семейную драгоценность, как свидетельство, как оправдание этой тягостной земной жизни. Ибо сказано было знающим, что «*небеса и те будут уничтожены не до конца, ибо вся обветшают, и яко одежду свиеши я, и изменятся, и будет небо ново и земля нова*». И там, на новопоселении, без старых словес некуда будет деться, новое без старого пусто и оголено, лишено смысла, как неплодоносная монгольская степь, смыкающаяся в дальнем далеке с бескрайним небом.

Сегодня же неподвижная пластиковая телефонная трубка, светящийся экран монитора, непонятно чем набитая коробка компьютера – тоже вещи, приписанные к владельцу, но хозяину не надо выходить за порог дома, не надо ждать порой несколько лет, чтобы поговорить и даже увидеть корреспондента, сидящего за своим рабочим столом на другом конце света. Легко и ненакладно совершить сегодня виртуальную экскурсию в тот же Иерусалим, отстоять молебен в храме Гроба Господня. Время сжалось предельно, хотя кто знает, как еще сожмут его компьютеры новых поколений. Пространство стало тоже иным: почтовая связь, конверты с марками уже прошлое, а миниатюрные модемы теперь можно подключить практически везде и

общаться с Иркутском и Пномпенем, стремительно забывая искусство вдумчивого, неторопливого письма и навыки чтения ответных посланий. Пространство расширилось до бесконечности, стало виртуальным, то есть неосязаемым, оно не отменило километры асфальтированных трасс, но, раз засветившись на экране, принялось жить своей остраненной жизнью, как некогда литература, родившаяся из путевых описаний неведомых земель и покаянной исповеди блаженного Августина епископа Гиппонского. Вечная жизнь поселилась не в заповеданном Иерусалиме небесном, не на экране даже, не в самой вещи, в которой пытливый Маркони спаял передатчик, антенну и аккумулятор в одну цепь, – она существует даже не в миниатюрных кремниевых чипах, а прячется где-то еще, там, где заповедал ей жить Стив Джобс и иже с ним, там, где нам точно нету места. Вечная жизнь по-джобсовски творится на наших глазах, если не стереть ее мановением руки, а точнее щелчком нарисованной стрелочки, одним незаметным кликом. Ведь и после смерти создавшего их файлы на рабочем столе будут жить так, словно хозяин еще здесь, задумался и курит в сторонке. Тело его будут пожирать земные черви, а вот файлы только если они плохо защищены, могут пострадать от весьма прожорливых электронных червей, которых нельзя разглядеть даже в самый современный микроскоп, потому что их нет, тогда как мы знаем: они есть и весьма опасны. Страшно подумать: тела нет, а виртуальное существование в наличии, в виде адресов и линков, что продолжают бесконечное взаимодействие где-то в параллельной Вселенной. И это не привычная библиотека с томами, хранящими мудрость ушедших творцов, а бог весть что такое, не поддающееся разуму, но созданное им ему же на потребу.

Нина, как он ни бился, как ни подсовывал, не читала художественную литературу. Он, например, любил Лескова, а она морщила нос и фыркала: «Фэйк!». Модное иностранное словцо казалось Мальцову производным от понятного даже мелюзге слова «fuck», ее электронный жаргон был чужим, резал слух. Те книги, что Нина иногда проглатывала за вечер, он не понимал совсем. Все эти руководства, программы… В них была ее, отдельная от Мальцова жизнь, там она чувствовала себя на коне и слезать с него не собиралась. Вечно торчала в сети, списывалась с «френдами», которые всегда готовы были помочь-разъяснить устройство нового гаджета, подсказать ход или просто посудачить о чем-то, Мальцову недоступном. Он не ревновал ее к виртуальным связям, но не понимал и не принимал ее увлечение, чувствуя, что с каждым днем всё больше превращается в ископаемое, беспомощное, не приспособленное к завоевавшей мир новой жизни. Слово «гаджет» вызывало у него рвотный рефлекс, и они часто ругались с Ниной из-за его старомодности: ни тебе джипиэса в разведке (впрочем, он был у молодых), ни ридера, ни айпэда, ни айфона. Он называл их «мутью», пасовал перед ними, научился только играть в маджонг, предпочтя его простецким пасьянсам, и с гордостью заявлял, что доживет и так, без этих знаний. Вероятно, в глубине души он всё же ревновал ее к неизвестным «Гризли», «Панкрайдерам», «Чечеточкам» и уж вовсе непроизносимым «NG-34», «Globetrotter'ам» и прочим, с которыми она смеялась в скайпе, зависала в чатах, засиживаясь далеко за полночь, когда он начинал похрапывать, отчаявшись дождаться ее в постели.

Зато Нина не ловила кайф от писцовой скорописи семнадцатого века, буквы которой, рассыпáвшиеся перед глазами на закорючки, вензельки, костыльки, детские галочки и хитрющие запятушки, больше походили на китайские иероглифы, чем на родную речь. К ним надо было привыкнуть, сжиться с рукой писца, долго разбирать приемы его личного написания, чтобы потом победно прочитать документ. Научную литературу Нина почитывала, но не любила, зато на раскопе научилась тонко разбираться в слоях и прослойках, лихо орудовала с электронным нивелиром и, переговариваясь с подчиненными по рации, начинала с позывного: «Алло, говорит вождь». Она была организатором, честолюбивым и работоспособным капитаном батареи, на котором лежит вся черновая работа войны. Ответственность за ежегодные отчеты лежала на ней, Мальцову было даровано небожительство полководца. Он призывался для разрешения непонятных моментов, где требовались его начитанность и эрудиция.

Немногочисленные берестяные грамоты и свинцовые печати читал и атрибутировал только он. В Деревске на церковнославянском читали единицы – некоторые попы и кучка староверов, державшихся наособицу возле своей моленной, запрятанной в линиях улиц за городским рынком. На древнерусском не читал никто…

Погруженный в странные мысли, мозг понемногу начал оттаивать от сковавшего его холода, в пальцах закололо. Мальцов пошевелил ими, пальцы обрели чувствительность. Подвигал испуганно ногами, покачал в коленях. Подумал еще: со стороны его можно принять за идиота, занимающегося сидячей гимнастикой для пенсов. Тело корчило, он принялся качать плечами. Затем покрутил бедрами, словно хула-хуп повертел, уже собрался встать, чтобы окончательно размяться, но вдруг подозрительно прислушался. Кто-то мощный и тяжелый стремительно приближался со спины, рассекая шуршащую некошеную траву, треща сухими ветками, словно зверь, мчащийся напролом к жертве. Мальцов не успел повернуть голову, как дикий, откуда-то сверху свалившийся крик «Га-а-а-а! Га-а-а-а!» ударил по ушам, заставил по-черепашьи втянуть голову в плечи.

– Сидишь, горюшко, кукуешь в одиночестве! Га-а-а!

Некто огромными лапищами накрыл его плечи и затряс, словно ящик с гвоздями, чтобы меленькие, утонув, выдавили искомые крупные на поверхность, отчего все кости и хрящики тела, все рёбра бултыхнулись внутри, словно крепились к позвоночному столбу на веревках.

– А я иду, а ты сидишь! Га-а-а! – Деланный смех бесцеремонно ворвался в уши. Человек развернул Мальцова вполоборота, приставил свою бородатую рожу близко к его носу, дыхнув в лицо перегаром. – Эй, родимый, не унывай! Я унылых не люблю, смертный грех, отец настоятель прописывает за уныние сто земных поклонов. – Он вдруг икнул и растянул рот в идиотской улыбке. – Познакомимся, дядя? Николай. На рыбалке – просто Коля!

Мужик, прервавший его думы, был огромен, черен, немыт, носил обтрепанную долгополую рясу и вьетнамки на босу ногу. Глаза его блестели, огромный нос картошкой шмыгал и нетерпеливо морщился над мясистыми розовыми губами, шумно втягивая воздух, – похоже, странник простудился в своей не по сезону выбранной обуви.

– Откуда ты свалился, Просто-Коля?

– А из монастыря сбежал. Га-а-а-а! Командировочку выписал. Вернусь, может быть, когда землю потопчу, куда ж еще идти. Настоятель меня любит, простит, вместе когда-то учились. Душа винца запросила, устала душа от неправедного устройства, да! Вот у ефремовских переночевал, но прогнали, не желают делиться, накормили, и вали – жмоты. Но я кагору бутылку свинтил, будешь? – Из глубины церковного одеяния факирским жестом извлек бутылку массандровского кагора.

– Для причастия вино спер?

– Там знаешь сколько, ящиками стоит, им спонсор поставляет. Га-а-а-а! Га-а-а-а! Что лупаешь, меня припадочным зовут, многие молодые послушники боятся, как сисек голых, рот мне крестят, зааминивают, но еще никого не укусил. Га-а-а! Это во мне радость существа моего играет. Открывай, ножик-то есть? – он протянул Мальцову бутылку.

– Ножик найдется.

Мальцов достал из кармана подаренный Ниной швейцарский армейский нож с белым крестиком, который по старой полевой привычке всегда носил с собой. Проткнул пробку штопором и вмиг вытащил. Ему вдруг страстно захотелось сладкого крепкого вина.

– Начнешь? – Николай недвусмысленно посмотрел на бутылку. – Давай-давай, гляжу, крючит тебя… половинь.

Мальцов запрокинул голову, прильнул к горлышку и забулькал.

– Эгей, дядька, о страждущих не забывай!

Николай резко выхватил бутылку и одним махом влил в себя оставшуюся половину.

– Ангельское винцо, га-а-а!

Глаза его сразу умаслились и подобрели, он присел на соседний пенек.

– Делись-рассказывай, как дошел до жизни такой?

Коля вытащил из глубин облачения пачку «Мальборо», чиркнул зажигалкой и глубоко затянулся.

– Сигареты тоже в монастыре стащил?

– По-братски позаимствовал. Видишь, грешен, курю, когда выпью.

– Братья, выходит, тоже покуривают?

– Осуждаешь? Они, может, и баб пользуют, и что? Эт ты зря, себя суди строже, я вот себя осуждаю и каюсь постоянно. Набегаюсь, нагрешу, потом помчусь стрелой к настоятелю, ночь не ночь, с порога бухнусь в ноги, колени его обхвачу и слезами изольюсь, всю подноготную выскажу, какой я есть. Отец настоятель меня знает, хар-рашо знает! Как начнет отчитывать, тихо так, терпеливо, но строго, наставительно… знает мое паскудное житие, жалеет… Тут слёзы сами катятся, веришь? Ершиком железным душу продерет и новенького, блестящего, как в баньке отмытого, отправит нужники чистить, картошку в подвале перебирать, дрова колоть, а я на всё горазд, гордыня ух какая, не сломить меня нипочем. А ты куксишься, как сука голодная под забором. Ну, похорошело? – Николай весело и со значением подмигнул – так воришка в пригородной электричке, втершийся к бабке в доверие, показывает: мол, всё, старая, допрыгалась, доставай-ка кошелек!

Мальцов кивнул и неожиданно рассмеялся. Кагор растекся по жилам, вывел из анабиоза. Николай гнал привычную пургу, исполнял заготовленный номер и весь был как на ладони, а всё ж смешил, зараза, на чем, собственно, нехитрый номер и держался.

– Что, теперь сто рублей попросишь? Я ж тебя вижу.

– Га-а-а-а! Га-а-а! А то я тебя не вижу. Выпить тебе еще надо, дядька, дашь сто рублей?

– А вот не дам, что тогда?

– Дашь! Не дашь – отдашь, давай сыграем. Камень-ножницы-бумага, знаешь? Кулак – камень, – Николай сопровождал свою речь показом, кулачище вмиг нарисовался перед мальцовским носом. – Ты не задумывался, ведь вот вся наша жизнь в этой игре. Ножницы – чики-чики, – постриг пальцами, – бумагу режут? – Перед мальцовским лицом застыла ладонь твердая, как тесак. – Режут! Легко режут. А камень ножницы бьет? А бумага – бьет камень, потому как на ней Божье слово написано. А бумагу ножницы – чики-чики. И так круг, круг страшенный замыкается, и мы в нем все, души наши в нем заключены. Всё бьет всё, никакой защиты и нет. Думал?

– Думал, думал, – ответил Мальцов, лишь бы тот прекратил гон.

– Давай по сто рублей на кон, сам сказал, сто рублей! Играем?

Любой игрок знает, что первый, кто сказал слово, проиграл. Мальцов сиживал в молодости в разведках за покером, а потому промолчал, испытующе уставился на Николая.

– Играем, играем! Сову по полету видать, тихаришь, а сам готов уже, руки-то чешутся. – Николай заводил его мастерски – любо-дорого смотреть. – По сотенной?

– По десять! И покажи свои сначала, – не выдержал Мальцов.

– Запросто, – в руке Николая образовалась новая желтенькая монетка, – ставлю десять! – И тут же затряс кулачищем: – Раз-два-три, ну, давай, и ты в лад со мной!

Мальцов не утерпел, энергия била из Просто-Коли – фонтан, не человек! Поставил пятьдесят рублей, забрав предварительно монетку. Выкинули. Ладонь Николая побила мальцовский кулак. Николай схватил пятидесятирублевую купюру, сунул в карман.

– Погоди-ка, мы ж по десять рублей договорились!

– Своих не обманываю, ты что! Продолжаем, всё одно мои будут, ты запоминай!

Он опять затряс кулаком и побил мальцовские ножницы камнем. Не стерпел, не сиделось ему, вскочил с пенька, принялся подпрыгивать на месте, как пацан на пружинном матрасе в пионерском лагере, сыпал словечками, комментировал выигрыши, подначивал Мальцова, и

так запуржил ему голову, что тот в десять минут проиграл Николаю еще две сотенные. В кармане оставалась одна тысячная, но Мальцов вовремя опомнился, гипноз косящего под юродивого Коли будто спал с него.

– Уфф! Повеселил и будет. Доволен?

– А я завсегда доволен, хлеб есть – доволен, хлеба нет – песни пою. Но лучше, когда есть водочка. Теперь после кагора купишь мне бутылочку, посидим-поокаем, потом домой пойдем, замерз я что-то, – вытянул грязную ногу с вьетнамкой. – Ботики бы какие достать, у тебя-то не разживусь?

– Вот что, Коля, повеселил, подзаработал, вали теперь, куда собирался. Я своей дорогой пойду, ты – своей.

– Прогоняешь, значит? Ну и ладно, не запла́чу, пойду, пожалуй, Беловодье искать, знающий человек говорил, тут старинная тропа начинается. Надоело на этом свете бесчестном, хочу к правде прибиться, правды хочу, понял ты меня, дядька? И всегда так было, всегда правду искал, а нет ее тут. Га-а-а-а! Напугал? Что отшатнулся? Еще, еще выпить тебе надо, в душе-то еще стужа адская, и голова начнет болеть. Правильный опохмел, когда на сто грамм более выпил, чем накануне накатил. Ладно, не жадный, держи.

Из складок рясы выскочил в руку двухсотграммовый флакончик с бальзамом «Алтайские травы».

– Вот тебе и бальзам. Га-а-а! В чай его, в чаек доливают, мощный антигрустин, доложу тебе, сто тридцать три травы, сила, Лазаря воскресит! В любой аптеке без рецепта продают.

Коля свернул крышечку, флакончик в его руке потерялся, только горлышко торчало из кулака, тоненькое и сиротливое. На сей раз он начал первым, набрал в рот темный тягучий настой, закинул голову и заклокотал им, полоща горло. Щеки пошли красными пятнами, он долго наслаждался утробным бульканьем, как ребенок. Наконец проглотил, выдохнул и протянул Мальцову флакончик.

– Благодать! И болезнь прогоняет, и дыхалку чистит прилично, изволь!

Едкая жидкость обожгла глотку, смесь на ста тридцати трех травах была крепкой, спирт тут же начал всасываться в слизистую, из глаз Мальцова брызнули слезы, дыхание на миг перехватило.

– Коля, предупреждай, чистый же спирт.

В голове сразу зашумело. Мальцов уставился на хохочущего Николая.

– Проняло, проняло! Я как Моисей в пустыне, вылечу тебя, дядька, на ноги поставлю. Или уже завалиться решил, голову повесил?

– Я о Беловодье вдруг подумал, – начал Мальцов, – о правде твоей. Ты что же словами бросаешься? Боженька язычок-то оттарабахает. Сколько людей его искали и зачем? – Он заметно захмелел.

– Если старые люди искали, значит, есть что-то! Значит, есть оно. А где? Сам подумай, книги про то написаны, тайные книги. Люди бежали от попов, от власти государевой, искали уголок. Может, и нашли, и утекли туда все, и сейчас хорошо живут, без гнета. Про такое в газетах не трубят, про такое заветное тихо-тихо шепчутся, доверенным передают. Не смотри на меня тюленем, глазки протри, я правду говорю, есть такие пределы, в иной материи лежат и всегда лежали. Там стона и скрежета зубовного нет и быть не может, там пение ангельское.

Николай преобразился. Он снова уселся на пенек, уронил голову на лапищи и загрустил.

– Я тебе сокровенное слово сказал, а ты не веришь. Эх, дядька, поясню тебе всё, слушай.

– Иди, Коля, бог с тобой, – отмахнулся Мальцов. – Беловодье в Алтайских горах искали, но не нашли его там. Беловодье в сказочных пределах существует, это мечта человеческая. Плохо тебя просветили.

– Ученый, значит?

– Ученый. Археолог.

– Га-а-а! Га-а-а! – Николай взбрыкнул головой. – Когда-то и я был ученый, материализьму недоучился, выгнали за пьянку. А про Беловодье ты, ученый, ни черта не знаешь. Почему святой Ефрем сюда пришел в одиннадцатом веке? С головой убиенного брата пришел, на руках ее принес, святыню свою. Брат его Георгий конюшим был у святого Бориса, первого русского страстотерпца. Ефрем прозорлив был, он в здешних лесах правды искал, от произвола алчных властителей-братоубивцев спасался, дверь искал, что в Беловодье отворяется. Но не открылась ему дверка, за грехи его не открылась, он монастырь и построил, дабы себя и брата отмолить. Отец настоятель мой тоже грешен, вот он молится так молится, и меня отмолит, побожился мне, сам дорогу указал, благословил идти по миру. Мне странствия на роду написаны. Глядишь, занесет и на Белые воды. Хочется мне всё-всё изведать, с детства хотелось землю обойти, потому как неусидчив, пытлив и гордый очень. Сидел бы и пироги с капустой уминал – нет, тянет меня, куда-то ангел зовет, может, мне-то и откроется дверь.

– Тебе откроется?

– Как знать, дядя, по вере дается, как знать, во блаженном юродстве многие двери открываются.

– Какой ты юродивый? Хлюст и пьяница. Играешь хорошо. Кормит тебя твоя игра?

– Подкармливает, с голоду не подыхаю. Ну, как зовут-то тебя, дядя? Свечку, может, поставлю.

– Иван.

– Иоанну, значит, Ангелу пустыни и поставлю. Прощай. Коль не хочешь мне обувку подарить, я и сам достану. Не держи зла. А сотенную еще подай, пригодится.

– Нету больше, иди.

– Ну, значит, прощай! Держи пять!

Николай протянул ему ладонь, Мальцов машинально пожал ее.

– Га-а-а! Га-а-а! – Николай загоготал во всю глотку, ткнул в мальцовскую ладошку пальцем, в ней осталась приставшая к коже голубиная какашка. – Га-а-а! Га-а-а! – Он уже бежал прочь, махал руками, ветер развевал полы рясы, казалось, что черный человек сейчас взлетит и исчезнет в облаках. Но он просто скакнул на лету в овраг, и тот поглотил его.

14

Кагор с алтайским бальзамом разожгли в желудке огонь, в голове просветлело. «Просто-Коля» растормошил его и насмешил детской верой в мифическое Беловодье. Утробный смех, поднявшийся из глубин живота, разгладил мышцы лица, ему стало легко и хорошо, захотелось выпить еще. Сверчок поселился в животе и принялся наяривать на скрипочке: «пили-пили-пили», просил, умолял он, «пили-пили-пили, бу-дем пить, бу-дем пить!», добавлял торжественно и бесстрашно. Чего бояться, чего бояться, даже такой перекати-поле, как Просто-Коля, повидавший, потершийся между разными жерновами, выбрал для себя птичье существование – кружка пива, и день свободен! Чем он-то хуже? Держать в себе думки, складывать в животе камешки невзгод, чтобы утянуло под землю? Однова живем! Ух, как он себя настегивал, спеша к спасительному магазинчику недалеко от дома. Забыл, забыл, что у него полно бортниковской выпивки, всё из головы выветрилось, одна цель манила.

Вытащил тысячную, протянул молодящейся рыжей продавщице, обильно выкрасившей губы помадой, а ресницы дешевой тушью, склеившей их, как смола хвоинки, и затвердевшей на кончиках черными катышками. Она, вероятно, представлялась себе этакой хищницей-вамп, но усердный макияж преобразил ее миловидное личико, оно стало походить на клоунскую маску паркетного рыжего, которому вечно достаются незаслуженные тумаки.

– Милая, дайте, пожалуйста… – начал Иван Сергеевич.

– Чёй-то я тебе милая стала? – рыжая кокетливо состроила глазки.

– Не милая? Тогда – красавица! Дай-ка мне… – он жадно проинспектировал ряды бутылок, – вот этот портвейн, две! Да, две бутылочки. Бутылочку, значит, водочки, какая у вас свежая?

– Все до канавы доведут, – буркнула клоунесса. – Бери «Беленькую», ее, говорят, не бутят.

– Значит, «Беленькую», тоже две. Хватит денег?

– Еще двести восемьдесят останется.

– Ну и лимонадику две, пакет покрепче и какую-нибудь закусь, сосиски, наверное, чтоб не мучиться с готовкой.

– В путешествие собрался? – Рыжая знающим глазом оглядела его с головы до ног.

– Да-да. В путь-дорогу, в Беловодье.

– В запой ты, дядя, пошел, – пророчески отметила продавщица, – аж руки колотятся от нетерпения.

– Так заметно? – Руки и правда тряслись, соскребая с прилавка мелочь. – А я думал, подойду вечерком, провожу до дома, как, рыженькая?

– Вечерком ты в укатайку будешь. Ты только дверь открыл, я уже определила: в полет собрался.

– Что, права не имею? – чуть подвывая, спросил Мальцов.

– Все права свои вспоминаете, когда у прилавка третесь, а детишки за что страдают?

– Нету у меня детишек, поняла? – отрезал Мальцов. – Пока нету, может, вот появится, баба вроде забеременела.

– Ой, поздравляю! Тогда надо ж и выпить. – Губы растянулись у рыжей во всё лицо, в глазах заплясали веселые искорки. – Ты, значит, празднуешь? Тогда давай, дядя, повеселись напоследок, заботы только начинаются!

Она легла на прилавок, свесив голову, словно прикидывала, перескочить, что ли, да и удрать со смешным дядькой из прискучившего магазина, но передумала, зашлась утробным смехом:

– Ой, уморил, девки! Надо же, старый дед ребенка заделал, бывает же такое! Ой, уморил! У всех осень на дворе, а у него весна!

Мальцов шел по своей улочке, и чем ближе к дому, тем делалось веселей на душе. Весна! Коля-богодул, рыжая – живые люди вселили в него позабытую удаль.

На пороге у подъезда всё так же стояла Танечка в своем халате, словно и не уходила. Шелухи вокруг заметно прибавилось.

– Трудишься, Танечка? – Мальцов указал на шелуху.

– Чё делать-то? Налил бы кто, горит.

– Пойдем! – Решение родилось само собой. Он ухватил ее под руку, повел по ступенькам, чуть забегая вперед, словно приноравливался, как бы поэффектнее закружить ее в танце.

– Отпусти, я сама, – Танечка вдруг застеснялась, попыталась высвободить руку, но он не отпустил.

– Пойдем, Танечка, налью, еще как налью.

Танечка сразу успокоилась, прижалась к нему доверчиво, он ощутил теплое тело и понял, что хочет ее. Они почти взбежали на второй этаж. Мальцов распахнул дверь в пустую квартиру, пропустил соседку вперед.

– Лети в душ, я пока сосиски сварю. Полотенце найдешь!

– Раскомандовался! Налей сперва, говорю, горит.

Плеснул по чашкам портвейн, махнул за раз. Танечка не отстала, только она тянула вино, как лошадь воду, тоненькой струйкой, но выдула свои полчашки. Улыбнулась благостно пухлыми губками.

– Я пойду. Там у тебя колонка?

– Колонка, колонка, разберешься. – Он отвернулся к плите, чтоб не смотреть на нее, поставил кастрюльку с горячей водой под сосиски.

Она ушла в ванную. Танечка вела себя просто, без жеманства, и он был ей за это благодарен. Сосиски сварились быстро. Разложил их на тарелки, нарезал хлеб. Выпил еще, в глазах вспыхнул фейерверк, он посмотрел на Нинину фотографию и показал ей неприличный жест.

Мылась Танечка долго, использовала выпавшую удачу на все сто, горячей воды в ее квартирке не было. Он изрядно захмелел, съел свои сосиски, смолотил хлеб, откинулся на диване. Наконец она выплыла из ванной, распаренная и красная, довольная, закутанная в большое махровое полотенце, как в вечернее платье с оголенными плечами. Ступала босыми пятками по половикам, почти беззвучно, и улыбалась – чисто ребенок, невинная Афродита, вынырнувшая из пены морской.

– У тебя шампуни вкусно пахнут!

– Все попробовала?

– Ага! – рассмеялась звонко, потянулась к нему, выпрашивая поцелуй. – Я тебя давно заприметила, – выдохнула после, повела худенькими плечиками, чуть потупила взор, строила из себя девочку-распутницу, что выглядело особенно непристойно и возбуждало. Взяла его чашку с портвейном, отхлебнула, лихая и вовсе не такая неряшливая, какой казалась во дворе. – Я всегда получаю, что захотела, понял? – сказала, утвердительно стукнула босой пяткой в пол, жадно допила портвейн и взмахнула руками, как крыльями. Полотенце скользнуло на пол. Танечка стояла перед ним, затвердевшие соски уставились на него, как два ствола, не выполнить пожелания которых было равносильно погибели. Он обнял ее и потянул на кровать.

И обезумел, весь дрожал, как малец, пока она уверенно избавляла его от ненужной одежды, шептала что-то ласковое на ушко, щекотала щеку пушистым от шампуня локоном. Руки их, как руки слепых, принялись беззастенчиво путешествовать по разным местам, изучая географию и рельеф тел, лаская и знакомясь с ними. В первобытном этом желании не было ничего постыдного, только сила, что кинула в объятья, сплела, сплотила накрепко, и поверилось на миг, что надолго. Губы ее оказались влажными и ни на йоту не уступали его губам в

силе. Они были настойчивы, жадно просили и получали просимое незамедлительно, а в передышках прикасались едва-едва, чтобы тут же впиться в его шею. Вихревая энергия, что протрясла их души, родилась в голове, пронеслась электрическим торнадо от макушки до пят, натянула каждую жилку в теле, словно подкрутила незримые колки, превратила их, эти жилки, в струны древнего музыкального инструмента, что плачет от нестерпимой боли-радости, пропитывая каждый стон нотами беспричинного счастья.

Потом они долго и молча лежали, спутавшись руками, как две лозы, тянущиеся к солнцу, и в этом было что-то дикое и жизнеутверждающее, потому что их нега только прикидывалась бессилием. Сквозь прикрытые ресницы он следил за ее мерно колышущейся грудью, вздымавшейся в такт с умиротворенным дыханием, вспоминал, как только что пристально всматривался сверху в ее зрачки и не мог оторваться от них, темных и глубоких, так же неотрывно читающих что-то в глубинах его души. Тогда ее голова была крепко схвачена его ладонями, устроилась в них, как щенок, окруженный материнским мехом, в ее глазах он вычитал доверие и детский восторг и малую толику победной хитрости, наполнившие его сердце глупой петушиной гордостью. Она медленно повернулась к нему, прижалась, хитрюга, вовсе не безнаказанно, маленькие пальцы тут же совершили набег, хозяйничая там, где он их поджидал, и на ее лице расцвела лисья улыбка, а из округлившихся губ вырвалось, повторяя их абрис, троекратное «О-о-о!».

– Ах, ты, – выдохнул он, перевалился, укрыл ее своим телом, пряча от всех-всех невзгод, от судьбы и неустроенности жизни, и был столь внимателен, что заслужил пение древней скрипки, завершившееся жаркой и грубой площадной бранью. Только здесь ей был дарован другой пыл и смысл, слова рассыпáлись из запекшегося рта как драгоценные брызги артезианской чистейшей воды, вытягивая из него оставшиеся соки жизни, и вымотали до донца, как и заповедано природой.

– Голодный ты, не прокормишь, зверюга, – пропела Танечка, когда они отдышались и сердца стучали уже гулко, но не заполошно.

Легко встала, худое ее тельце ничего не весило, прошлепала в ванную и вышла оттуда охолонувшая, в привычном халате-мешке, вмиг упрятавшем девичью талию и крепкие, крутые бедра. Так упавший занавес преображает неистовых влюбленных в обыкновенных актеров, принимающих с авансцены стандартные голландские розы и махровые белые хризантемы.

– Я сосиски заберу, детям сварю, ладно?

– Конечно, конечно, в холодильнике кусок свинины, его тоже бери. – Вспомнил про бортниковский подарок, вскочил, стыдясь наготы, натянул штаны.

– Ты отдыхай, – она положила ему руку на грудь, намотала на палец колечко волос, небольно потянула к себе, – я покормлю и приду, хочешь?

– Хочу, – сказал он честно.

– Ну и отдыхай, я мигом.

И выпорхнула в дверь ласточкой.

15

Он заснул и проспал в мирном забытьи несколько часов. Очнулся от прикосновенья ее пальцев, Танечка ласково гладила ему голову, тихонько нашептывала:

– Вставай, зверюга, я детей накормила, мясо пожарила, небось, проголодался.

Мальцов разлепил глаза и увидел ее, улыбающуюся, довольную собой, потянулся и спросил:

– Который хоть час?

– Десять. Ты чё, всю ночь дрыхнуть собрался?

– Встаю, встаю, проголодался.

И правда, ощутил, что страшно голоден, притянул ее к себе, поцеловал в лоб, как печать поставил, потянулся было к губам, но Танечка властно отстранила.

– Куда, иди в душ, поешь сперва. Ночь длинная. Я карты принесла, погадаю, хочешь? Ты ж со своей поругался, я слышала.

– Что, громко орал?

– Нет, тихо – стены тряслись.

Она опять прыснула в кулак.

– Что смешного?

– Разбаловал, видать, ее, или надоела? – Она встала с кровати не дожидаясь ответа, пошла на кухню. Оттуда уже крикнула: – Мне всё равно, а тебя жалко: неустроенный.

Мальцов вскочил, бросился в ванную и долго тер тело мочалкой, яростно мыл голову, прогоняя хмель. Потом врубил холодную, взвыл и исполнил в чугунном поддоне дикий танец. Вышел из душа как новенький, надел чистое белье и белую рубашку. Танечка уже накрывала стол в комнате, нашла в холодильнике квашеную капусту, наварила картошки и пожарила свинину.

– Ух ты! – оценила его вид. – Никак на танцы пойдем?

Танечка не переоделась, так и осталась в своем плюшевом балахоне – в нем она чувствовала себя непринужденно и свободно.

Он обнял ее, крутанул, притянул к груди и поцеловал уже страстно.

– Голова кружится. – Она опустила глаза, положила голову ему на грудь. Так простояли какое-то время, тихо и счастливо. Танечка очнулась первой. – Кушать будешь?

– Буду, голодный!

Уселся за стол напротив нее, следил, как она ловко подцепила вилкой картофелину, шмякнула на тарелку толстый ломоть свинины.

– Наливай! – Танечка протянула дедов лафитничек.

Ела она вкусно, пальчик не отставляла, орудовала вилкой и ножом легко, с двух рюмок не захмелела, только щеки стали красные, живые; от третьей отказалась.

– Мне гадать, не буду.

Мальцов махнул третью, скорее чтоб утвердиться за столом, поймал радостный блеск ее глаз и понял, что поступил правильно, сделал так, как сам хотел, Танечка это в мужчинах ценила. Он принялся рассматривать ее пристальней, раньше вообще оглядывал походя, а недавно, в постели, кроме обращенных вглубь глаз мало что и разглядел. Отметил широкие скулы и чуть-чуть раскосые глаза, что делало ее похожей на лисичку.

– Ты ромка?

– Не-е, я другая. Наша кость – кият, знаешь? Крымчаки, как вы говорите.

– Кияты, вот это да! Из Мамаевой орды?

Мальцов был уверен, что племя кият, некогда знаменитое, породненное с самим Чингиз-ханом, владевшее землями в Солхате, нынешнем Старом Крыму, давно исчезло с лица земли.

– Ты и про Кичиг-Султан-Мухаммада знаешь? Ай-яй! – Танечка радостно взвизгнула. – Откуда знаешь?

– В книгах вычитал. – Мальцов отвалился от стола, смотрел на нее уже по-новому, как, впрочем, и она. В ее глазах он прочел восхищение. – Между прочим, бабушка рассказывала, что мы сами от Тугана происходим по одной линии.

– Борджигин? – Танечка захлопала в ладоши. – А я вот из кият, знаешь, родственные кости, ну племена, как вы говорите. Только борджигин – прямые чингизиды, а Мамай – из боковой ветви. А я-то чую, что-то с тобой не то… – она залилась смехом, закачала головой.

– Что же ты не в Крыму, там ваши опять, говорят, рулят.

– Наши разные, – серьезно ответила Танечка. – Наших там нет теперь, все разлетелись. Да и кият и борджигин прямых не осталось, почти.

Она вдруг опустила голову, а когда подняла, глаза, вспыхнувшие было яростным огнем, опять стали черными и бездонными, спокойными, словно вспышка в них ему только померещилась. На него глядела всё та же знакомая Танечка из подъезда.

– Давай погадаю! – Она вскочила, вмиг унесла со стола всю еду, не тронула только водку, воду и нарезанное на дольки яблоко.

– Что твои карты скажут, ты в них веришь? – Мальцов неотрывно следил за ней, она умело разожгла любопытство, но почему-то не захотела продолжать разговор о предках.

– Верю, – ответила Танечка просто. – И ты поверишь. – Вытащила колоду из-под себя – всё это время, оказывается, просидела на ней. – Только не смейся, карты не любят.

Она уже волховала, и он увидал ее опять новой, почти незнакомой. Взгляд сосредоточен на колоде, что положила стопкой между ними на скатерти. Руки с растопыренными пальцами над картами, словно укрывают их от дождя или, наоборот, впитывают невидимые токи, идущие от колоды. Она вся была в деле, Мальцов как-то подсобрался и сам: неожиданный разговор, перемена, произошедшая в Танечке, против воли настроили на сеанс.

– Сначала на короля, – почтительно прошептала Танечка, выложив перед собой бубнового короля. Тщательно перетасовала колоду, сняла от себя, развернула веером. – Тяни. Три карты, не больше, не ошибись.

Мальцов вытянул три карты наугад, протянул ей, рубашкой вверх. Танечка отложила колоду, по одной открыла карты, положила одну над королем и две по бокам. Сверху лег трефовый король, справа – пиковая четверка, слева – бубновая пятерка. Подняла трефового короля, показала ему, зажав между пальцев, как пачку сигарет.

– Человек, о котором ты думаешь, очень хитер. Не стоит проводить с ним столько времени, но при встрече будь с ним ласков. Будь с ним осторожен, помни, что тебя спасет один человек.

Король треф выскочил из ладони, описал полукруг, упал на стол рубашкой вверх. В руке уже была направленная прямо на Мальцова пиковая четверка.

– Остерегайся сварливой женщины, она желает зла. Причина твоей печали – твоя слабость. Береги слезы, они будут нужны: скоро наступит ужасный день.

Танечка говорила каким-то не своим, загробным голосом, отчего по коже пробежали мурашки. Мальцов никогда не относился к предсказаниям и гадалкам серьезно, но тут было иное – он почуял, что лучше молча принимать ее слова. Казалось, рассмейся он, задай неверный вопрос, она бросится и разорвет его, как дикая кошка.

– А бубны? – спросил он, чтобы разрядить обстановку.

Четверка описала полукруг, и, пока следил за ней, в Танечкиной руке уже закрепилась бубновая пятерка.

– Ты сожалеешь об упущенной возможности. Это научит в другой раз быть умнее. Утешайся тем, что эта неприятность пойдет на пользу. Сердце у тебя доброе, но оно не понято.

Пятерка совершила пируэт, и тут же резкими движениями ладоней Танечка смешала карты на столе, собрала в колоду, перетасовала и убрала опять под себя, села на них, как наседка на яйца.

– Не очень-то весело. Всегда так?

– Еще на будущее погадаю, потом, сразу нельзя, колоде остыть надо. – Танечка протянула ему лафитник: – Наливай, хочется после гаданья, устаю я.

– Это уже перебор. Только что насупленная сидела, и опять как с гуся вода!

– Нет, не говори так, устаю быстро. – Она уже улыбалась.

Он пошел в холодильник, достал бутылку текилы.

– Пробовала такую?

– Чё это?

– Мексиканская водка из кактуса. Ее надо с солью и лимоном.

Налил, принялся ее учить. Такая учеба Танечке пришлась по душе. Она раскраснелась, вмиг слетели остатки сосредоточенности. Браво слизывала с его ладони соль, защемляла своими маленькими белыми зубками лимонную дольку и высасывала сок.

– Вкусно! И в голове сразу тепло-тепло, не как водка, больше на план походит!

Довольный, он приобнял ее за плечи.

– Ты не бойся, карты только дорогу чертят, может, и свернешь еще, кто знает. Бабушка меня учила, она была гадалка, а я – так. – Танечка засмеялась искренне и протянула лафитничек: – Налей-ка еще.

Он налил и, когда она выпила, притянул к себе и поцеловал в губы.

Потом опять лежали без сил, он гладил ее голову, и она немного задремала у него на груди. К Мальцову сон не шел. Он тихонечко переложил ее голову на подушку, она тут же очнулась:

– Чё не спишь, отдыхай.

– Не спится, выспался.

– Нет, так не годится.

Танечка встала, прошлепала в коридор, принесла маленький целлофановый пакетик с сушеной травкой. Вскипятила чайник, заварила пол чайной ложечки прямо в стакане. Накрыла блюдечком. Дала постоять несколько минут, протянула ему.

– Выпей, отдохнешь.

– Что это?

– Увидишь. Травы. Бабушка собирала, я тоже умею.

Лицо ее приняло невинное выражение.

– А ты?

– Я домой пойду. Завтра зайду – расскажешь. – Она уже облачилась в свой плюшевый балахон.

– Оставайся.

– Пей. Вся печаль пройдет.

– Это что – наркотик?

– Травки. Разные – полевые, горные. Попробуй, дурак будешь, если откажешься. – Она кивнула на стакан. – Другие просят, воинам подавали после битвы, а ты повоевал сегодня, я не ожидала.

Последнее замечание его убедило. Он отхлебнул. Пах настой чем-то мятным и чем-то затхлым, и почему-то чуть захладел и словно начал застывать язык. Танечка нагнулась, чмокнула в щеку.

– Спи сладко, багатур. Я там у тебя еще мясо нашла, много, можно, возьму детям? – Он молча кивнул, разрешая. Она что-то добавила на своем языке, радостно расхохоталась и убежала.

Мальцов проводил ее взглядом, потом поднял глаза к потолку. Ему показалось, что стены и потолок начали раздвигаться ввысь и вширь.

– Вот ведьма, опоила! – сказал он, чувствуя растекающуюся по жилам силу. Жар ударил в голову, в виске застучало второе сердце. Принялся тянуть из стакана настой мелкими глотками и с каждым новым ощущал, что он становится сильнее, его прямо распирало изнутри. Допил, поставил стакан на стол, хотел встать, но понял, что тело налилось свинцом и он не может даже руку поднять. Упал на подушку, отдался неведомой силе, что еще росла и росла в нем, подчиняя себе всю его волю. Веки стали тяжелыми. Последнее, что Мальцов увидел, был стремительно улетавший в недосягаемую высь потолок. Потолок постепенно погружался в синеву, затем почернел, стал глубоким, холодным и бездонным, на нем зажглись мириады звезд.

16

Туган-Шона вышел из шатра. Луна выбелила просторы неба. Звездная дорога походила на солончаковый такыр, по которому ему вдоволь пришлось попутешествовать. Такыр был плотный, копыта лошадей не оставляли на нем следов, отпечатываясь только на выступавшей корке соли, этой застывшей пене древнего моря, что, запечатанное в подземных пропастях, выталкивало излишнюю горечь наверх. Соль изъедала всё – живое и неживое. Своды ребер павших верблюдов и лошадей, серые и изъязвленные черными точками, покрытые трещинами, словно расписанные неведомыми письменами, держались на потаенных скрепах и казались останками музыкальных инструментов великанов, они гудели и плакали здесь на непристойных великаньих сходках задолго до появления людского рода. Легкий ветерок выдувал из них свист и неожиданные печальные стоны, заставляя путешествующих в ночи тревожно озираться по сторонам и рождая страшные легенды, которыми пугали новичков на привалах у огня. Стоило же подуть ветрам посильнее, как иссушенные остовы осыпáлись со стуком и мерзким шорохом и лежали уже в полном беспорядке на темной тверди, напоминая путникам о бренности земного существования.

Верный Кешиг разжег у входа костер, теперь огонь догорал, только меж двух корневищ алела жаркая норка, отгонявшая стелющуюся по земле ночную прохладу. Кият спал, завернувшись в стеганый халат-дели, подложив под голову заседельный мешок. Туган-Шона присел на корточки, подставил ладони к жару, что жил еще, выдыхая струйки сизого дыма из глубины давно засохших, плотных корней. Лагерь напомнил ему пустынные барханы, которые он проезжал давным-давно, во время своего поспешного бегства из Китая, с тем только отличием, что построение лагеря имело четкий замысел, приданный ему людьми. В распахнутом пространстве пустыни не было натоптанных улиц и переулков, деливших огромное стойбище на владения туменов и сотен. Не было там и конских хвостов-бунчуков, развевавшихся на шесте над куполом юрты командира-темника, предводителя тысячи воинов, ни племенных знаков – тамг, начертанных жирным углем на последних шатрах в ряду. Пустыня была чистым листом мира, и письмена, если б и нашелся чудак, пожелавший их начертать, замело бы песком, поддерживающим эту девственную убийственную чистоту. Барханы были тогда кругом, как сейчас навершия шатров, и только один караванщик знал путь среди них. Они шли по ночам, спасаясь от дневного зноя, при свете луны, ориентируясь по звездам, что медленно спутешествовали им навстречу. Наверху у звезд были свои неизменные и заповеданные Верховным Повелителем тропы и дороги, и знать их было необходимо даже простому воину-арату, иначе в этом мире его поджидала бесславная и мучительная смерть.

Огуль-Каби учила его в детстве находить путь в степи. Бабушка старательно прививала видку главное умение, без которого человек, живущий в распахнутом пространстве мира, был обречен на верную гибель. Она вывозила его ночью далеко в степь и показывала небо. Заставляла найти Большой Ковш с главными в нем звездами – Змеей и Черепахой. Ручка ковша, по-разному наклоненная, указывала время наступления зимы или приход лета. Звезды имели замечательные имена: Рог, Угол, Небесные Врата, Чрево Дракона, Ключ, Привратник, Пошлина, Весы, Четверка Небесных Лошадей, скачущих там, где по окончании ночи всегда вставало дневное светило.

– Давай, мой маленький волчонок, ищи, – говорила она, обыгрывая вторую часть его имени. Шона – по-монгольски означает «волк».

Заставляла искать дорогу домой, и он, затвердив ее уроки, эту дорогу находил, мысленно пуская стрелу между Змеей и Черепахой или целясь прямо в Четверку Небесных Лошадей.

Знания давались ему легко, как и чужие языки. Когда он поворачивал коня в нужном направлении, бабушка всегда повторяла: «Ай, баирлах, сэйн, сэйн!»[2]

Бабушку Огуль-Каби он вспоминал по ночам, когда смотрел на небо. Ее горящие глаза, утонувшие в складках морщинистого лица, пронзали любого, даже самого знатного воина острым взглядом уверенной в себе женщины.

Она никогда не отводила глаз, старуху уважали за храбрость и правильную жизнь, а слухи о ее былой красоте стали еще при жизни частью киятских легенд. Воины у костра пели песню, в ней говорилось о том, как она гарцевала на жеребце с луком в руке и пустым колчаном, прекрасная и гордая, с прямой спиной, а длинная черная коса, подчеркивая стройный стан, ниспадала на седло, богато украшенное блестящими заклепками. Бабушка мастерски стреляла из лука и однажды пригнала к шатру табун из сорока кобылиц – главный приз, что достался ей, победившей десятерых самых метких воинов темника Дордже-Улаана.

В молодости она пасла стада и охотилась наравне с мужчинами своей кости, пока однажды ее не засватал дед Тугана. Она родила ему восьмерых сыновей и трех дочерей. Туган-Шона был самым младшим ее внуком. Она сама воспитала мальчика, когда мать скончалась от чумы, что завезли в степь торгующие уйгуры. Не покинула внука и после, переехала с ним в Китай, берегла его, пока другие верховоды рода воевали друг с другом, уничтожая одного за другим тех, кого она произвела на свет.

Бабушка спасла ему жизнь.

Двое из дядьев прислали отряд нукеров, чтобы опасного отрока удушили и привезли его отмытую и умащенную голову, наколотую на аккуратный бамбуковый колышек, в столицу улуса. К тому времени из всех претендентов на главенство в роде оставалось четверо, но четвертый был не в счет – слабый умом, он никогда не садился на коня. Бабушка послала отряд в степь, сказав, что Туган-Шона кочует со скотом, собрала его пожитки, написала письмо Магомет-Султану в его крымскую вотчину и наскоро простилась с внуком. Предводитель племени кият, фактически властвующий в Золотой Орде, доводился Огуль-Каби дальним родственником.

Туган-Шона скакал три месяца сквозь пески и степи, переплывал реки, одной рукой держась за гриву коня, другой за надутый кожаный мешок, ехал по каменистой земле у подножия старых холмистых гор, поросших курчавыми деревьями. Их увитые светло-зелеными лианами, изрезанные морщинами толстенные стволы выпирали из буйных зарослей колючих кустов подобно гигантским зонтам, защищая от едкого солнца всё, что плодилось внизу во влажной, пряно пахнущей тени, под защитой их столетних крон. В колючих стенах были пробиты бреши-тропы, похожие на узкие бойницы на китайских крепостях, из них выходили на тропу черные косматые кабаны, провожавшие всадников мелкими злыми глазками. Он ехал в ярком солнечном свете сквозь высокую траву, щекочущую брюхо лошадям, напоминавшую некошеные травы сказочной страны Эргунэ-Кун, и зеленым, колышущимся на ветру волнам не было конца, словно поверхности соленого моря, которое он тоже увидал, добравшись наконец до солхатских владений на Крымском полуострове.

Здесь уже было людно. Черный, будто прокопченный на костре, старик грек приютил его на ночь, а утром указал путь, напоил молоком и накормил теплой лепешкой с вкусным, остро пахнущим соленым овечьим сыром и сладким виноградом. На закате Туган-Шона выбрался на горную тропу, что шла под нависающей скалой. Трещины разрезали камень, словно молнии небо, галька шуршала под копытами, и струйки ее стекали в опасную пропасть. Конь шел медленно, осторожно ставя копыта на незнакомую поверхность, усыпанную острыми камнями и желудями, нападавшими с карликовых дубов. Эти чудные деревца росли прямо на отполированном временем черепе дикой скалы. На широком уступе Туган-Шона остановился и долго

[2] Ай, спасибо, хорошо, хорошо! (*монг.*)

смотрел вниз на долину, где ему довелось ночевать. Она тянулась далеко, вся покрытая абрикосовыми и яблоневыми деревьями, вишневыми кустами, и лишь местами на лысых клочках желтели поля, с которых уже собрали зерно. Виноградники взбирались по отлогим склонам, и в темной, маслянистой зелени нет-нет да проглядывали соломенные крыши маленьких глинобитных домов. Люди в этих домах не знали ремесла войны, откупались от нее десятой долей урожая. Вокруг жилья, словно искры от костра, полыхали красные, розовые и малиновые узоры – сливавшиеся в несказанной красоты ковер цветы дикой розы – сарнайцэцэг, разросшиеся в непролазную природную изгородь. Она украшала спокойную человеческую жизнь от рождения до смерти.

Солнце уходило за гору, долина начала словно тлеть, как остывающий тандыр, кровавые пятна и оранжевые блики заскакали по зеленям, и ему показалось, что он забрался на самый край изведанного мира. Ястребок в вышине протяжно свистел, выискивая в скалах зазевавшуюся мышь, чуть ниже его на теплых восходящих потоках парила пара воронов, присматривающих за готовившимся ко сну уголком света, в котором им была отведена почетная и мудрая доля неспешных наблюдателей за привычной суетой жизни. Но дорога не кончалась, петлями взбиралась вверх, и за лысым перевалом открылась другая долина, обильная водой и кипучей жизнью, погружавшаяся стремительно в наползающую тьму. В ней расположился Солхат, окруженный недавно отстроенными стенами из местного известняка, город-крепость – нововведение, которое позволил себе дальновидный Магомед-Султан-бек. В других местностях, где царил закон Ясы, монголы не строили крепостей и запрещали подневольным народам ограждать свои поселения. Потом на Руси Туган-Шона, правда, увидал и высоченные насыпные валы, и дубовые стены с квадратными башнями, крытые серебристой дранкой, и острые зубья частокола, натыканные в залитых водой рвах, но это было потом, позже.

Семнадцатилетний всадник въехал в город в полной темноте. Лишь громкий треск цикад приветствовал его появление. Ночная прохлада разносила по долине запахи садов, без которых здешняя жизнь была немыслима, как немыслима степь без привычного для степняка запаха горькой полыни.

В Крыму он обрел покровительство вельможи. Мамай принял тепло, расспросил об Огуль-Каби. В молодости он видел ее раз, и она оставила в его сердце незабываемый след. Так сказал повелитель, соблюдая закон гостеприимства. Туган-Шона получил титул эмира, как и подобало ему по крови. Мамай выдал ему серебряную пайцзу с двумя плывущими лунами и ярлык с алой квадратной печатью на земли в своих бескрайних крымских владениях. Понравившаяся Туган-Шоне с первого взгляда долина являлась их центром, и этот дар он принял как благословение небес, одобривших таким чудесным образом его стремительное бегство.

Конечно, дождь почестей излился на его голову после того, как он произнес монгольскую присягу повелителю Солхата, прошел через ряды очищающих огней и склонил голову, которую бек накрыл полой своего халата. Мамай настоял, чтобы новый эмир принял ислам. Это нужно, объяснил он, для придания Туган-Шоне особого веса в глазах его канцелярии и купечества. Признавая Аллаха еще одним богом, монгол никоим образом не нарушал главный закон – Ясу. Веротерпимость, завещанная Чингиз-ханом, позволяла держать в повиновении все народы, отданные Великим Небом его потомкам, как покоренные, так и те, что еще предстояло покорить. Он повторил нужные слова шахады за учителем-арабом и стал теперь называться Хасан-Туган-Шона – впрочем, в ставке мало кто называл его новообретенным именем.

После две недели пролежал на циновке, питаясь сушеными абрикосами, грецким орехом, медом и миндалем. Боль в лишившемся крайней плоти зеббе, как называли гордость мужчины арабы, постепенно утихала, он сносил ее легко, как должен был сносить любую боль монгольский всадник. Он лежал под тенистым навесом около журчащего ручейка, несущего воду на поля, смотрел в безоблачное Синее Небо и на третий день разглядел в нем горного орла. Тот кружил прямо над головой в гордом одиночестве, упорно поднимаясь всё выше и выше, затем

застыл на короткий миг, разметав крылья прямо на диске солнца, недвижимый, как изображение на монете или печати, и вдруг пропал, словно и не было его. Туган-Шона воспринял это послание как благое – орел в небе, запечатленный на солнце, предвещал ему быстрый взлет и еще большие почести.

Туган-Шона зависел только от милостей бека, тот мог рассчитывать на его верность и не просчитался. За последние двенадцать лет, во всех смутах и скитаниях Туган-Шона ни разу не изменил повелителю. Он знал уйгурский, говорил по-китайски, а еще свободно изъяснялся по-русски: вскормившая его рабыня Уля была из далекого Суздаля. Муж ее, кузнец Марк, родился в Рязани и, что странно, умел читать и писать. Этим своим умением он поделился с внуком хозяйки. Огуль-Каби поощряла знание не меньше умения стрелять из лука. Стрелу он, правда, пустил много раньше, чем с губ сорвалось первое русское слово «прости», которое часто произносил Марк. Он собезьянничал, повторил за ним, Марк улыбнулся и погладил его по голове. Для русских это слово было наиважнейшим. Без прощения не бывает и спасения, наставлял его русский кузнец. Туган-Шона вскоре уже читал Пролог и изумлялся терпению святых, сносивших муки ради Распятого. Как настоящий монгол, он презирал слабость, неумение отомстить обидчикам. Он не видел слабости у русских, но это странное слово почему-то часто слетало с их языка.

Когда Туган-Шона сумел заарканить первого жеребца, Марк купил у уйгуров звездного железа, найденного в степи, и выковал ему первый маленький меч. Потом перековал его в нож, а из новой порции сделал уже взрослый меч, длинный и острый, им было легко рубить с коня. Синяя сталь, прокованная не одну сотню раз, покрылась таинственными разводами, дающими металлу необычайную гибкость и прочность, и долго держала заточку. Лезвие, закаленное в крови не отведавшего травы козленка, легко сбривало густые волосы на руке русского кузнеца. На рукоять пошли драгоценные полосы темно-желтого бивня древнего слона. Маньчжуры часто находили подобные бивни в оползнях на склонах своих меловых гор и умело приторговывали ими. Туган-Шона назвал меч «Уйгурец», любил его и никогда с ним не расставался.

Огуль-Каби научила его приглядываться к чужим обычаям.

– Все люди не монголы даны нам великим Чингиз-ханом, чтобы мы могли разумно править ими под Небом, но это не значит, что дышащие с нами одним воздухом только прах и пыль. Настоящий монгол учится всю жизнь. Люди живут лишь затем, чтобы нести знание. Выбрать пригодное и припомнить в нужный момент может только сметливый, – говорила Огуль-Каби.

Мальчик просыпался среди ночи и, не найдя бабушки, выходил под звездное небо: знал, что старая плохо спит, предпочитает сидеть у жаркого костра, разглядывая небесные огни или вглядываясь в танцующее пламя, пожирающее сухой хворост. Туган-Шона устраивался рядом, и бабушка рассказывала ему про древнего Огуз-хана, девятый потомок которого в незапамятные времена потерпел сокрушительное поражение от своего кровного врага Сююнюч-хана и погиб вместе с большинством своих детей. Спаслись только младший сын Киян и его родственник Нукуз. Они нашли убежище в местности Эргунэ-Кун, где травы достают до стремян конника, а воздух чист, как ветер с гор, покрытых шапкой искрящегося снега. Стрелу охотника там всегда поджидает удача, а овцы никогда не приносят меньше двойни.

После того как потомки Кияна и Нукуза умножились и их стало что звезд в небе и могущество их укрепилось, они покинули Эргунэ-Кун и расселились по всей Великой Степи. Первый хан Государства Всех Монголов – Хабул – происходил из кости кият, потомков легендарного Кияна. От его старшего сына Окин-Бархака пошел род кият-джуркин. Внуком Окин-Бархака был Сача-бэки, который безуспешно соперничал с самим Тэмуджином – будущим Чингиз-ханом – за ханский титул. Есугэй-багатур, сын Бартан-багатура (второго сына Хабул-хана) и отец Чингиз-хана, стал основателем рода кият-борджигин – из него происходили все последующие монгольские ханы и их преемники.

Посылая Туган-Шону в крымские степи, бабушка, сама киятка, рассчитывала на помощь Магомет-Султана, и не просчиталась: Мамай, как ласково, уменьшая грозное имя пророка, звали его крымчаки, принял знатного юношу. Сам Мамай был по отцу в родстве с линией Чингиз-хана, происходя из двоюродных. Он стоял ниже кровных чингизидов на одну ступеньку, по закону ханский престол был ему недоступен, как и склонившему перед ним голову Туган-Шоне. Мамай был от рождения умен и честолюбив. Прикрываясь малолетним чингизидом Мухаммадом, которого сам же и провозгласил ханом удела Джучи и властителем столичного Сарая, он правил делами Золотой Орды от его имени, присвоив себе должность бекляри-бека – главную в государстве. Он добился бы объединения всех земель, подмял бы под себя и соседнюю Синюю Орду, кабы не бесконечные междоусобные войны и судьба, в конце концов изменившая ему.

Русские князья, плативщие дань в Сарай, грызлись друг с другом, как собаки из-за мозговой косточки, но ведь и в Орде в последние двадцать лет стало не лучше. Ханы-чингизиды передрались за владычество над Сараем. Мамай не раз за последнее десятилетие терял власть в главном городе, а значит, и над всей Золотой Ордой, отступал в Солхат, в свой крымский удел, и опять возвращался.

Русские зорко следили за событиями в Орде, выжидали, искали слабины. Война за ярлык на великое княжение между двумя закоренелыми врагами Михаилом Александровичем Тверским и Дмитрием Ивановичем Московским то набирала силу, то затихала. Имевший ярлык собирал несметную дань, ежегодно отхватывая от неисчислимой суммы весьма лакомый кусок. Орда напрямую зависела от русской дани – без нее было сложно расплачиваться с генуэзцами и венецианцами в Крыму, персами из Хорасана, уйгурскими и китайскими купцами, привозившими драгоценный шелк. Серебро было кровью любой власти. Правда, Мамай наладил подвоз золота из Индии и принялся чеканить новую монету, но без русского серебра всё грозило погибнуть в одночасье. Потерять власть над Русью означало для Мамая подписать смертный приговор.

Не так давно всколыхнулась Рязань, постоянно воевавшая с поволжскими вассалами Орды. Мамай послал Туган-Шону, Башир-Ердена и Ковергу проучить рязанцев. Земли рязанского князя предали мечу, войско вышло к Оке – на другом берегу его уже поджидали полки московского князя Дмитрия. Приказа Мамая атаковать москвичей не было, Туган-Шона убедил рвавшихся в бой Башир-Ердена и Ковергу, что москвичи просто выставили пугающий заслон. Ведь не пришли на помощь рязанцам, с которыми состояли в военном союзе, не воспротивились наказанию за нападение на поволжские полки. Его уловка позволила сохранить лицо и войско. Но сам факт был возмутительным: встали оружные, живым частоколом оградили берега Оки. И верно учуяли, собаки, слабину Мамаеву: в Орде свирепствовала чума, болезнь косила людей страшней, чем русские стрелы и мечи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.